

АЛЕКСАНДР  
ВОЛКОВ

# Квартирная ВЫСТАВКА



# Александр Алексеевич Волков

## Квартирная выставка

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=45768171](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=45768171)*

*Квартирная выставка: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2019*

*ISBN 978-5-00098-225-9*

### Аннотация

Роман о непростых девяностых. В одной из песен Цоя есть слова: «мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума». Главный герой Зыбин действительно болен и большую часть жизни пребывает в состоянии, которое психологи называют «пограничным». Порой болезнь обостряется и Зыбин отправляется в психиатрическую лечебницу. В той или иной степени больны и остальные персонажи романа, «ближний круг», собирающийся на кухне в крошечной квартирке неподалеку от Покровской площади. Художники. Музыканты. Поэты. Но это некая особенная болезнь, вроде той, о которой говорит Раскольникову Свидригайлов, когда человеку являются призраки, которых в «нормальном состоянии» он не видит. Да, они живут в призрачном мире, в «социальном зазеркалье», ибо в другом, «нормальном мире», существовать не могут и не хотят: души слишком ранимы и иначе «настроены». И только там они свободны.

# Александр Волков

## Квартирная выставка

© Волков А. А., текст, 2019.

© «Геликон Плюс», оформление, 2019.

\* \* \*

По телефону он еще говорит, что все нормально, что в общем-то ничего особенного не происходит, что все, что могло с ним произойти в этой жизни, уже произошло и осталась только полутемная квартира в две комнаты, ламповый старый приемник на холодильнике с разорванной обшивкой и черной бархатной воронкой динамика да еще телефон на кухонном столе рядом с металлическим цилиндром – поршень какой-то? – набитым подсыхающими папиросами. По утрам он выходит из комнаты в махровом халате; халат полосатый и на лопатках протерт до основы – состарился и обветшал вместе с хозяином. Когда-то он покупал на день рождения жене, радовался, глядя из-под век, как она встает с постели, как в полумраке протягивает руку к спинке стула, радовался родной тревожной пустоте постели, прислушивался к ее шагам в коридоре. А сейчас? Жена ушла на работу, на кухонном столе остывает недопитый чай, в крашеной гипсовой пепельнице грубо смят папиросный окурок. Он смотрит

на этот окурок и думает, что в этих папиросах, то есть в том, что его жена курит папиросы, есть что-то вульгарное.

Впрочем, не только в папиросах, но и в ее частой крупной седине, в мелких вставных зубах, отливающих каким-то неживым блеском, в том, как она разговаривает по телефону, когда напивается по вечерам и когда ему приходится брать у нее из ладони трубку и говорить: да, ничего, все нормально... ты заезжай, если сможешь, да... да, я дома, я почти всегда сейчас дома... иногда только выхожу в магазин... да, заезжай...

Сэм, Ворон, Клим, Любаша, Неля – вот фактически и всё, круг замыкается, голосов все меньше, меньше... Иногда звонит Лизавета – жена Ворона, и тогда они говорят подолгу, пока на том конце провода не хлопает входная дверь: сильно, даже с каким-то подчеркнутым смаком – назло соседу, как-то приставшему к Лизавете на кухне и получившему от вошедшего Ворона такой хук в челюсть, после которого пришлось вызывать «скорую»: перелом челюсти, нокаут...

Соседа откачали, увезли в больницу, надели гипсовый намордник – жаль, что не навсегда, – а он еще в палате накатал на Ворона такую бумагу, что того долго таскали по ментовским кабинетам и в конце концов довели дело до суда. Тяжкие телесные повреждения, два года общего режима светило как минимум; всё к делу подшили: и то, что выпить любит, и то, что бывший боксер – КМС в каком-то, кажется, полусреднем. Одно спасло: пятеро детей – четыре девочки

и мальчик, – на кого их оставишь? Дали условно. И на том спасибо. Да здравствует советский суд, самый-самый что ни на есть...

Узким коридором Зыбин отводит жену в постель, а сам возвращается на кухню, приоткрывает форточку и кричит во двор: «Кошмар!.. Кошмар!..» Кошмар – это кот, полосатый драный вор, найденный лет десять назад в мусорном ящике – Зыбин тогда еще работал дворником – слепым, голым; Зыбин принес его в брезентовой рукавице, показал сыну, шестилетнему Дениске, тот стал жалеть котеночка, сделал ему гнездышко из тряпочек в обувной коробке, и Зыбину пришлось выкармливать сиротку из пипетки, вставать по ночам, переступать через чьи-то ноги – у них всегда кто-то жил, – греть молочко, брать в ладони мелко трясущееся тельце, капать молочком на мокрую слепую мордочку, опять возвращаться в постель, спотыкаясь о чьи-то башмаки – всегда не хватало домашних тапочек, – забираться под одеяло, слышать бормотание жены: кошмар... кошмар... «Да, – думал он, – наверное, но ведь нельзя же, чтобы живое существо погибло в присутствии Дениски, он будет плакать, страдать, как страдал он, когда Ворон своей жилистой кистью с разбитыми костяшками – бокс – сгреб с клеенки сушку и она обреченно хрустнула в его пальцах; маленький был, три года, а уже чувствовал, что когда что-то ломают – плохо...»

Чайник еще теплый, Зыбин зажигает под ним газ и идет в ванную, смотрит на себя в маленькое зеркальце поверх зуб-

ных щеток, каких-то бутылочек, граненого стакана с мутными потеками пасты. Все это хозяйство живет на стеклянной полочке, и она тоже вся в известковых разводах. Конечно, надо бы ее протереть, но для этого нужно снимать все эти стаканчики, флакончики, так что уж бог с ними, побреюсь и так... Кот пропал, вчера ночью звал, звал: «Кошмар! Кошмар!» – тишина... Только шелестел в водосточной трубе апрельский дождик да висел где-то над двором далекий несмолкающий шум «смертных дум, освобожденных сном...» «Каких дум? – спрашивает он сам себя, и отвечает: – Одиноких, грустных дум о прошедшей и в общем-то потерянной жизни...»

Но бриться все равно надо, надо снимать эту редкую щетину, а то она придает исхудавшей физиономии какой-то китайский вид, да и лицо уж очень бледное, как у курильщика опиума... Интересно, какая из такой щетины может вырасти борода? Впрочем, борода – это вульгарно, тем более если нет в глазах этого волчьего божественного блеска, так физиономия начинает выглядеть просто запущенно, как непрополотая грядка... Он возвращается на кухню и садится пить чай, жидкий, спитой, и не потому, что нет заварки, а просто лень. Вот накатывает иногда такое состояние абсолютной апатии, когда любое движение представляется совершенно бессмысленным, вроде мушиных петель вокруг кухонной лампочки, когда думаешь о том, чтобы хоть куда-то пристроиться, торговать газетами, сигаретами, но чтобы хоть как-то быть на

виду, на людях... Чтобы хоть как-то заставить себя жить.

Два дня назад позвонил в полночь Сэм из своего Ворошиловграда: поздравь, говорит, я перстень есенинский нашел у одной старухи, он ей на свадьбу подарил...

– Прекрасно, – сказал Зыбин, – поздравляю...

Голос из трубки накатывал волнами, видимо, Сэм пьяный звонил и почти сразу же ругаться начал: «Хамы! Сынки! Пошляки! Говорю одному на ТВ: Тарле! А он смотрит, как баран: кто такой, спрашивает... Идиоты, олухи – засяду дома, буду Бхагават Гиту читать, всю, как она есть...»

Врет, конечно, ничего он не засядет, темперамент не тот, не кабинетный, вечно куда-то летел, так что за ним просто вакуум образовывался и туда затягивало, как в воронку... И этот его спектакль «Пир во время чумы» с настоящей лошадю, с телегой в виде ободранной до шпангоутов лодки, поставленной на колеса, и свечи, и портновский манекен с тележным колесом вместо головы на корме... Факелы, колонны, ступени: Рим, преторианская гвардия, Вителлий, пассионарии, и совсем юная Лиля в тугом белом трико с красным пятном во всю грудь – Мэри. «Хорошо хоть, – подумал, – что Сэм не спрашивает, где она...»

Впрочем, никто не спрашивает, все и так знают, что его жена ночует дома не каждый день, точнее, не каждую ночь, а когда он уходит в больницу, так здесь, в его квартире, появляется другой человек... Все уже привыкли, кроме него, хотя он и делает вид, что ему уже все равно, но все-таки каж-

дый раз, когда он снимает телефонную трубку и слышит этот голос: позовите, пожалуйста, Лилю...

– Это тебя, – говорит он жене.

И она уже знает, кто это, догадывается по его голосу – интонация ожидания: а вдруг это в последний раз? Она топчет в пепельнице окурок, кладет журнал на угол кухонного стола и идет в комнату к параллельному аппарату. Он слышит, как она снимает трубку: «Ну я же просила тебя не...» – и прижимает пальцем кнопку рычага. Вспоминает анекдот, как человек выпустил на стол директора цирка дрессированного клопа: вот, клоп-с... Директор (давя клопа большим пальцем): «Ну и что?» Вот так в следующий раз на «позовите Лилю» просто прижать пальцем кнопку: ну и что? Действительно, разве это что-нибудь изменит? Так что остается только отводить в сторону руку с трубкой и говорить: это тебя.

По утрам кружится голова, и в ногах какая-то слабость... Зыбин усмехается: старость... А ведь был кровельщиком, работал на высоте, сорвался один раз... Очень хорошо помнит свежее мартовское утро, уже подтаявшую и опять обледеневшую за ночь крышу, и покрытые ледяной глазурью водостоки, и рыхлый хруст ограничительной решетки, брызнувшие чайники ржавчины... Он повис тогда на руках над семью этажами, а решетка продолжала гнуться, и бежал по плоскому дымоходу бригадир, и швырял ему бухту страховочного каната с петлей на конце, так что он смог перехватиться, продеть руку в эту петлю, и бригадир стал вытаски-

вать его из пропасти улицы, и тогда у него словно открылись уши, и он услышал какую-то суету внизу, а впереди, на другом конце каната, было только красное широкое лицо со вздутой поперек лба жилой и темным пятиконечным пятнышком на козырьке ушанки...

В тот день его отпустили с обеда домой, и он шел по улице в матросском бушлате, перепоясанный тяжелым монтажным ремнем, наблюдал какую-то мелкую обыкновенную жизнь: оставленную у витрины ортопедической мастерской детскую коляску с хныкающим младенцем, обглоданного, как кость, ангелочка, торчащего из кратера фонтана в дворовом садике, старух, сверкающих спицами на весеннем солнышке, – а ведь этого всего могло бы уже и не быть, для него во всяком случае. Или, как сказал бригадир, когда Зыбин уже вскарабкался на плоский дымоход и дрожащими от напряжения пальцами вытягивал из пачки папиросу: человек каждую секунду рискует быть погибнутым, а кровельщик особенно – хорошенькое утешение.

Впрочем, многое той весной предшествовало: бессонные ночи, бесконечный кофе, бестолковые такси и сутолока, сутолока: ночные вздохи, тонкая полоска света из-под двери, плач разбуженного Дениски – ему тогда было годика два, – шаркающие шаги по коридору, какая-то ссора на кухне, звон бьющегося стекла, удар входной двери и грохот башмаков по парадной лестнице – где они все теперь, авторы этих далеких звуков? Остается только время, чистое время и одиночество

как форма борьбы с ним, странной борьбы, в которой нет ни победителей, ни побежденных... Два года назад умерла бабка, все писала ему из деревни: «Внучек мой Венечка давно ни палучала ат тибя писем...» Зимними вечерами, где-то в заснеженной глуши заброшенного полустанка, где стоят в угрюмых хвойных тупиках вагоны, груженные лесом, где когда-то пьяный лесник отрубил себе топором срамной уд, где до сих пор стреляют полудиких собак и обдирают их на шапки, где кабаны роют картошку осенними ночами, разбивая копытами подгнившие прясла, а медведь сиплым рыком заставляет обмирать забредших в малину старух, горбатых, сухоруких, переживших все времена, все поезда, все власти...

Картинка была у Питирима «Я в мире»: длинный бездонный коридор, и на обе стороны дверные косяки и проемы, и в них какой-то кошмар, какие-то вурдалаки, челюсти, зубы, глаза, морды, и среди всего этого мрака ползет по струне коридора очень подробно, как в зоологическом атласе, выписанный тончайшей кисточкой клоп. «Вот, господин директор!» – «Ну и что?» Вот так и Питирим: жил, писал картинки, учился в университете, защищал диплом, читал по частным квартирам какие-то странные полусумасшедшие лекции о происхождении диктатур, из которых следовало, что в стране наступают смутные времена, когда к власти может прийти любой человек, если только он будет опираться на численно ничтожную, но твердую военную организацию... И ведь нашел организацию, какой-то пиратский клубик при

жилконторе здесь, при том самом, где Зыбин работал кровельщиком до того, как сошел с ума, – ну и что? Где он теперь, Питирим? На Волковском. Утонул на съемках вместе с фрегатом, все выплыли, кроме него.

Вот на стене пылится гипсовая маска еще с тех времен – «Шива гневающийся». И картинки в комнате от Питирима: «О праве судить» – торс на птичьей ноге, с пауком вместо головы мощной рукой направляет на зрителя меч, истекающий кровью; «Не выдержал» – огромный топор в истерзанном щипчиками теле, лежащем на дощатом столе, и палач в глухом остроконечном колпаке, бессильно припавший к дверному косяку, а там в проеме... Любаша держит папиросу в длинных сильных пальцах с плоскими ногтями – профессиональная машинистка, – а вокруг лица, руки, ноги, какие-то другие части тел, словно разбитых на мелкие осколки прозрачными плоскостями многогранной призмы, слушай, говорит, что мне делать? – А я знаю? И почему вы все спрашиваете об этом у меня? Чтобы я опять звонил этому студенту, этому Вадику: тут, понимаешь, такое дело... А он даже и не дослушивает, он и так уже знает, какое это дело, и знает, что за это дело ему очень даже порядочно может влететь и что в уголовном кодексе у нас есть статья, где довольно ясно сказано, что бывает за это дело... – Но как же тогда? Что тогда?.. А ничего, говорю, не будет студента, и он уже не студент давно, а ординатор, и я звонил ему месяц назад, и жена его сказала, что Вадик после какой-то защиты пришел

домой, лег в горячую ванну и умер от разрыва сердца...

– Сердце разорвалось? – Да, а вроде был такой спокойный, сам ставил на плиту инструменты кипятить, всё в перчатках, тихо, с папиросой в зубах, уходил в комнату, а мы сидели здесь на кухне, и всё представляли, как это всё там происходит, и пили портвейн, а потом вдруг из комнаты доходил короткий вскрик, но к тому времени мы здесь уже были пьяные. И Вадик проходил по коридору в ванную, стягивая с кистей резиновые перчатки, и вдруг раз, лег в ванну и всё – сердце разорвалось... – Но он уезжает, говорит Любаша, совсем уезжает, ему даже рукопись вернули из издательства, а у меня уже никого не будет, просто другого такого нет... – Такого, говорю, не такого: какая разница тебе-то? – А, так я уже такая, что мне и разницы никакой, да, ты так думаешь? – А что мне думать, говорю, я смотрю и вижу... – Сволочи, сволочи... Отбросила папиросу, упала на стол, плачет.

«Что же я ей тогда сказал? – думает Зыбин. – Сказал: вот ты была, ну как бы это помягче – шалава, девка?.. Девочка типа... А теперь ты будешь мать. Понимаешь?»

И вот так каждое утро что-то вспоминается... Всё какие-то комнаты, где в креслах и на полу, подстелив одежду, спят какие-то люди, и он переступает через них, на ощупь находит в шкафу тонкий синтетический спальник, стелет его где-то под столом и вползает, как личинка ручейника, лежит, курит, тело знобит, он стряхивает пепел в консервную банку, и в изголовье цокает будильник, поставленный на семь...

Проснувшись от треска он слепо, на ощупь, пробирался в ванную, принимал душ и постепенно приходил в себя среди оштукатуренных стен, покрытых облупившейся краской. Чистил зубы, в нос ударял мятный холодок пасты, голова ясна, а в зеркале отражалось бледное небритое лицо, узкий подбородок и темные глаза, придавленные опухшими веками. Потом он варил на кухне крепкий, совершенно черный кофе, следил, как поднимается над узким жерлом турки бурозолотистая шапочка мелкой пенки, убирал турку с огня, дул на пену, постукивал ложечкой по доньшку, бормотал: велик аллах... велик аллах... велик аллах... – выплескивал в чашечку из костяного фарфора.

Бормотать, приговаривать, постукивать по доньшку научил его Афик, человек далекого, почти библейского происхождения, перс по матери и какой-то сирийско-месопотамский еврей по отцу с булгаковской фамилией Нисанов. «... числа весеннего месяца нисана...» Апрель, пасха, собор, свечи, конная милиция, духота, теснота, восковое ладанное марево по углам, игольчатые золотые блики и какой-то подземный литургический бас: и воскресе из мертвых!..

Как раз это и было накануне, и вернулись почти под утро, когда грязный, осевший вдоль гранитных парапетов лед уже начинал светлеть от предчувствия зари, и Зыбину удалось лишь на какой-то час забыться в зыбкой полудреме, и опять душ и кофе, потому что работа, весна и надо скалывать ледяные торосы и наплывы по краям крыш вдоль водостоков,

упираясь в ржавый желоб краем ребристой подошвы облегченного горного башмака-«вибрэми», в брезентовых штанах, морском бушлате, перехваченном тяжелым от жестяной сбруи монтажным ремнем... Как там у Сэма: забиты глотки водосточных труб прозрачными миндалинами льда, но мы уверены, оттаиваем мы, закончилась мелодия зимы... И он выворачивал ломом ледяную глыбу и сталкивал ее в тридцатиметровую пропасть улицы: ах!..

Порой он замечал внизу знакомую шляпу или пальто – ничтожное обличье деловитой праздности, думал: а как все же мало меняется жизнь в Коломне – те же старухи, пьяницы, актеры без ангажемента, нищие чиновники, студенты, художники, просто беспаспортные бродяги, воры, скупщики краденого, наркоманы, – и весь этот человеческий ил как-то существует, питается, размножается, заполняет свой уголок вечности какой-то бессмысленной суетой...

Здесь спился и погиб старший брат Вэвэша, философ, изгнанный с пятого курса, после того как он положил на стол в комитете комсомола свой членский билет: 1968 год, Чехословакия... И опять летела вниз глыба, и Зыбин только откачивался назад, чувствуя упругий толчок позвоночника. И крыши, крыши, перепадами уходящие к самому горизонту, как ступени огромной лестницы, и дымящие трубы, и закопченные купола – пустынный, безлюдный пейзаж; беспокойная, тревожная гармония. За годы работы чувство опасности стало как бы родным, оберегающим, подсказывающим

телу все необходимые для жизни движения, но когда в то утро, после бессонной пасхальной ночи, вдруг тихо и страшно хрустнула под ногой решетка ограждения, он успел только выпустить из ладони лом и, уже опрокидываясь, заваливаясь боком в какое-то жуткое, мертвеющее пространство, ухватиться рукой за поперечный прут.

И еще в ту весну вышел с «химии» Евгений: заложил в ломбард казенные фотоаппараты и не успел выкупить – год на стройке кирпичи таскал своими скрипичными пальчиками. Евгений привел Шелухина, бывшего администратора концертирующей труппы народных танцев – «руссиш культуриш, мля!...» – тянул срок за валюту, признаваясь, однако, что засыпаться на этом деле может только полный мудака. Или его подставили, но тогда это было уже все равно; им обоим, как, впрочем, и многим другим, просто негде было жить.

И начались полуночные разъезды, рестораны – в разном составе: с Сэмом, Любашей, Лилей, Зыбиным – кто свободен; звонки, возвращения под утро, такси во дворе под окном чуть ли не круглые сутки – Шелухин платил, говорил: могу я после трех лет честного принудительного труда среди всяких ублюдков отдохнуть по-человечески?

С домашним варьете – танцовщиц знакомых привозил из «Кронверка»; с приятелями Евгения – изящными бесполоыми эльфами, которые переодевались в балетные пачки, красили губы, ресницы и, напившись шампанского, поднимали такой визг, что соседи по площадке грозились вызвать ми-

лицию, и утихали лишь после того, как Шелухин выдавал им пару бутылок коньяка.

И вся эта карусель крутилась до тех пор, пока Зыбин вдруг не залег на тахте в махровом халате, завернувшись в одеяло, с папиросой в зубах, и не пролежал так трое суток совершенно молча, и так долежал бы, наверное, до состояния самадхи, если бы на исходе третьего дня в комнату не вошли «люди в белых халатах».

Тогда и начался этот десятилетний путь вдоль реки, заставленной зачехленными катерами, моторками, через деревянный мостик, вдоль кирпичной стены, через проходную по выстланному плиткой и кафелем коридору – покорный путь в пустоту, потому что там, куда его привезли в тот вечер, все было как бы приглушено: свет, звуки, прикосновения...

Сейчас болезнь уже почти не угнетает, он привык к ней, привык к этим срывам – «в цикл», – которые, собственно, и не срывы в том смысле, что нет никакой дерготни, истерик, а просто как бы медленное погружение тонущего судна; когда пропадает желание мыться, есть, когда при взгляде в зеркало – среднюю дверь зеркального шкафа, установленную на паровом радиаторе в прихожей, – кажется, что еще два-три дня, и само отражение исчезнет, и останется только пыльная поверхность с темными оспинами облетевшей амальгамы, и в ней клетка с попугаем, подвешенная к потолочному крюку в маленькой комнате на фоне матового колпака, пересекающего карниз с деревянными кольцами.

В таком состоянии Зыбину иногда кажется, что стоит только сделать над собой какое-то усилие, и все опять будет нормально... И он даже предпринимает честные попытки: наводит порядок в квартире, принимает душ, надевает чистую рубашку, брюки, ботинки, выходит на улицу, пьет кофе в кафе на углу, а потом опять возвращается домой, опять видит в зеркале свои глаза и понимает: всё, через пару-тройку дней начнется «цикл»... Опять мимо заплатаанных выцветших брезентовых чехлов, выставленных у береговой кромки, как большие домашние тапочки, мимо тополей, ко-со ушедших в землю по самые плечи, так что уже не понять, где крона, где корни, мимо щербатой кирпичной стены, повенчанной ржавой колючкой...

Как-то летом шли – жена провожала, Сэм, – жара, тополиный пух вдоль поребрика, а у моста на воде целые сугробы намело, и какие-то пацаны кидались в них с берега и с моста, и он вдруг остановился на мосту и сказал: «А может, не стоит? А может, вернуться?» – «А завтра “скорую” вызывать?» – сказала жена. «Да, – сказал он, – ты права, надо идти». И даже пошел после этого как-то быстрее, словно ободренный мыслью, что он сам принял решение, что он еще может сам принять решение...

Потом все было как обычно: лица, слова, одежда, койка у стены, застывшие в разнообразных неподвижных гримасах физиономии сумасшедших, таблетки, уколы и что-то вроде оукливания на неопределенный срок, когда кажется, что

мозг в черепе весь расплылся в кашу и что сам он, Зыбин, обратился в какое-то чучело, муляж, восковую персону...

А потом что-то внутри опять начинало оживать, и приходила жена, приносила сигареты, чай в термосе, и они сидели в проходной комнате, и мимо них выводили сумасшедших на дневную прогулку, и каждый был молчалив и погружен в решение важного вопроса, а некто В. Д., биолог, ставивший на себе странные опыты по продлению жизни – весьма, как выяснилось, небезопасные для его собственного существования, – останавливался против них и некоторое время смотрел сквозь толстые стекла очков черными неподвижными глазами. Говорил всегда одну и ту же фразу: «Живешь так, словно ничего не было до и ничего не будет после, а нельзя...» Подходила сестра, говорила: «Пойдемте, Владимир Дорофеевич, гулять, Владимир Дорофеевич!» Сумасшедший говорил: «О!.. О!..» – тыкал пальцем в окно и уходил, припадая на правую ногу и склонив к плечу крупный костлявый затылок, облепленный жидкими мятыми волосиками.

Один раз во время свидания жена спросила: а вы здесь о чем-нибудь между собой говорите? От нее пахло вином и еще чем-то застарелым, запущенным, как от бездомного мужика; глаза были светлые, бесстыжие, умные и жалкие – они словно тонули в бледных потеках век, скул, лба... дыр... бул... щыл... Какой-то бред на слабых тоненьких ножках в мятых нитяных чулках, и это уже навсегда, и он знает, что

тот, другой, стоит сейчас на деревянном мостике и курит, опершись на перила и сплевывая в неподвижную воду.

– А сын как? – спрашивал Зыбин. – Учится?..

– Да, – отвечала жена, – конечно. Только не знаю как...

– Так ты спроси.

– Я спрашивала.

– Ну и что?

– Ничего. Говорит, что все нормально...

Какое противное, мнимое какое-то словечко «нормально»; спрашиваешь: как дела? Человек говорит: жилья нет, с работы уволили, с женой развожусь, а так все нормально... И уже становится не то чтобы не ясно, что нормально, а что не нормально, а просто все равно, действительно, как будто живешь так, что ни до, ни после ничего не было и не будет...

Но ведь не все же так! Сын по-своему решал проблему добра и зла: уходил в какие-то студии, возвращался под утро, весь день спал, запускал школу, оттуда начинались звонки, и надо было идти на какие-то собрания, говорить при незнакомых людях, что да-да, конечно, они будут следить, чтобы он посещал... И при этом надо было делать вид, что у них семья, что все нормально, и на это уходило столько сил, что, вернувшись домой, он молча ложился на тахту в большой комнате, смотрел в телевизор и курил, курил...

Двор, куда выходят окна зыбинской квартиры, высок, узок, темен, из стены напротив выпирает какое-то подобие

эркера, а дверь подъезда под ним прячется в кривом тупике. Солнце даже в полдень срезает только верхний этаж и два окна мансарды, обитой оцинкованным железом. Там мастерская Григура: тонкие полоски света между глухими фанерными щитами, заменяющими шторы, не гаснут всю ночь. Когда жена не ночует дома, и Зыбину становится страшно от заброшенности и одиночества, и он уже не в силах сидеть рядом с окаменевшим в молчании телефоном, он выходит во двор, по узкой черной лестнице поднимается к Григуру и стучит условным стуком.

Шифр меняется каждые два-три месяца; Григур завел это обыкновение после того, как какие-то странные типы явились к нему среди ночи, напоили вином с клофелином, срезали два десятка холстов, забрали дюжину икон – писал для одной пригородной церквушки, даже постился месяца два, – а напоследок еще и разлили в прихожей растворители и подожгли, так что Григур, очнувшись в дыму, едва успел выбраться на крышу через окно.

Кажется, где-то в то же время – плохой был год – Тину положили в больницу. Когда узнал, что ей вырезали полжелудка – Клим зашел после больницы, сказал, сидя вот здесь, напротив, – зашевелилось какое-то нехорошее предчувствие, почти физическое ощущение прикосновения к сердцу куточком меха...

– Она давно жаловалась, – говорил Клим, глядя мимо Зыбина припухшими глазами, – но так: пожалуется, таблетку

примет, наверное, скажет, аппендицит, и опять вроде ничего... А тут одна таблетка, вторая – нет, болит, просто на крик... Вызвали «скорую», ждем, а она лежит, смотрит на меня, и как-то не так смотрит, взгляд какой-то другой, и говорит: а может, у меня рак?

– Да ну, что ты болтаешь? – сказал тогда Зыбин. – Да перестань ты... Да не может быть, ну откуда, в тридцать-то лет?

– Да, – сказал Клим, – думаешь? Но почему мы всегда думаем, что все самое страшное может случиться с кем угодно, кроме нас и наших близких, а? Что это за глупенькая такая иллюзия личного бессмертия? А ты знаешь, какая у нас здесь онкологическая статистика? Ты у нас на улицах когда-нибудь японцев видел? Нет? И не увидишь! Проклятое место! Господи!.. Господи, – вдруг зашептал он, – господи, помилуй, пронеси, господи!..

Не помиловал. С каждым днем всё хуже, хуже... Клим заходил после больницы серый, лицо словно провалилось куда-то, утонуло в бороде.

– А что врачи говорят? – спрашивал Зыбин, и это опять были ненужные слова, потому что врачи могли уже говорить все, что угодно, и если бы хоть что-нибудь в этом мире зависело от тех слов, что скажут врачи...

А потом, уже осенью, серым и промозглым вечером, когда даже облака в небе казались клочьями размокшей в луже газеты, позвонила Неля и сказала: умерла. Зыбин провел пальцем по клеенке, туго прижал, пытаясь выщепить складку из

потертой поверхности, украшенной бледным отпечатком какого-то неопределенного фрукта, спросил: когда? Неля сказала: сегодня, в пять утра...

Да, наверное, потому что в этот миг он вдруг вскочил, буквально выдрался из страшного сна: кто-то стучит в дверь, сильно, упорно, но без злобы, без истерики, просто знает, что в квартире кто-то есть, и знает, что этот кто-то – Зыбин, и стучит конкретно ему, а звонок почему-то не работает, а он, Зыбин, лежит на тахте, один, без жены, слышит стук, но не открывает, думает, что это Ворона занесло под утро и что ему просто негде выпить, а у него, Зыбина, совсем нет настроения пить портвейн с Вороном... Но вот стук прекращается, он слышит, как человек сопит, топчется на площадке, царапает дверь ногтями, и это уже не Ворон, а какая-то темная безликая сила, и Зыбин страшным усилием воли заставляет ее принять обличье человека, и человек этот уже не Ворон, а Клим, и он уже не на лестнице, а во дворе, и двор заставлен старой мебелью, все больше высокие темные шкафы, но есть и кресла, тумбочки, стулья, этажерки, жардиньерка с засохшей агавой в битой эмалированной кастрюле, и Клим, весь в белом, ходит среди всего этого и везде заглядывает, ищет, а Зыбин стоит у окна и наблюдает за ним сквозь лохматую дырочку в портьере, и все залито каким-то странным сиреневым светом... И вдруг Клим, уже совершенно седой, вынимает откуда-то из собственного нутра в одежных складках небольшой продолговатый предмет, слегка прижимает паль-

цем, и в ответ на это движение из Климова кулака вылетает длинное, узкое, как стилет, лезвие, и Клим поднимает голову и смотрит Зыбину прямо в единственный глаз, выставленный в дырочку портьеры, и он хочет отдернуть портьеру и крикнуть в форточку: «Клим, заходи!» – но вместо этого пятится, пятится, и спина его упирается во что-то неподвижное, а дырочка в портьере становится все шире, лохматые края вдруг вспыхивают, и Зыбин понимает, что сейчас он должен прыгнуть в это огненное кольцо, а Клим подходит все ближе, и уже хватается рукой за подоконник, и Зыбин делает страшное усилие и выдирается из этого кошмара в тихие прокуренные комнатные сумерки, и вот уже начинает различать звуки: дыхание жены, упорный буравчик крысы в дальнем углом подполье...

Но там стояла настороженная с вечера крысоловка, и она вдруг щелкнула, шмякнула, простучала по паркету дощечка, и все – тишина, только редкий шаг ночного путника по мокрому асфальту да придушенный визг авто на вираже.

Не спалось, и он просто лежал, подложив руку под голову. Думал: Тина и Клим. Она – бледненькая, рыженькая, тихая такая мышка, а он красавец, гонщик на ралли, философ – учился тогда на вечернем философском и работал таксистом. Говорил: найди ей комнатку какую-никакую в нежилом фонде, у вас же там есть какая-то инспектриса, пусть оформит, я заплачу, Тине ведь надо где-то жить, не со мной же, а то ведь так и жениться недолго, а мне это не надо, у

меня и так все есть.

– Да, – говорил Зыбин, – понимаю, есть инспектриса, но она только на тебя глянет – и уже с тебя не деньгами возьмет, понимаешь, да?

Клим морщился, как от кислого, спрашивал: а может, ты сам передашь, что там надо: Корвуазье? Супер Райфл? Ливайс? Духи «Жанна д'Арк»? Трусики от Кардена?..

– Во-во, – говорил Зыбин, – именно от Кардена... И чтобы ты сам на нее их надел: старые снял, а эти надел и натянул... То есть наоборот: сперва натянул, а потом надел. У нее вся квартира мореным дубом обшита, ванная на полтора метра от пола перламутром выложена, чай из серебряного самовара через золотое ситечко цедают – вот тебе и все твои трусики...

Так, проговаривая старый этот разговор, встал в темноте, прошел в угол, взял крысоловку, открыл форточку и вытряхнул крысу во двор.

Вспомнил комнатку Клима на Васильевском: маленькая, метров двенадцать, по стенам циновки, коллекция австрийских ножей для прикалывания дичи – старинная работа, с гравировкой по клинку, в углу акваланг, выюк с байдаркой и... Тина? Да, конечно, невозможно, надо идти к инспектрисе.

– Она художница, – говорил Клим, – сидит, водит кисточкой по деревянным тарелочкам, ложечкам, яйцам, а я что: вот гробанусь завтра, так ей что, с ложечки меня по гроб

жизни кормить?

– И будет кормить, – сказал Зыбин, – такая – будет...

Клим аж зубами щелкнул: меня, говорит, Игоря Климашевского, у меня дед ссыльнокаторжный тигра в уссурийской тайге брал сетью, не очень, правда, большого, но все равно...

Но тут из комнаты вышла Тина – учила трехлетнего Дениску кисточкой по бумаге водить, – и они ушли вдвоем, не уехали, а именно ушли, потому что у Клима хоть и была тогда «тройка», но выпивши он за руль не садился, говорил, что стоит только раз через это дело переступить – и всё, войдет в привычку.

А через неделю Клим гробанулся на загородном шоссе; показывал одному приятелю-чайнику, как надо вписываться в поворот на скорости, тормозя коробкой передач – голый расчет и нервы, – а тот сел за руль и на ста тридцати не выдержал, вместо сцепления выжал тормоз, и Климова «тройка», пробив трухлявый поребрик, бросилась с обрыва в заросли серого голого ольшаника в долинке замерзшего ручья. От удара в поребрик Климов приятель вылетел через лобовое стекло, воткнулся в кусты и отделался сотрясением могза и переломом ребра, а Клим, почему-то сидевший на заднем сиденье (подальше, наверное, от соблазна своей рукой перехватить баранку на вираже!), инстинктом гонщика собрался в комок и закрутился вместе с машиной, летевшей, как консервная банка, привязанная к собачьему хвосту, и уже в виде

куска металла проломившей тоненький ледок над бегущей водой. Но ручей, на счастье, оказался мелок, так что Клим не утонул, но извлекали его из обломков буквально по частям: задние стойки и кусок крыши автогеном срезали, закрыв Климову спину асбестовым листом.

Когда Зыбин зашел к нему в больницу, то увидел на койке не человека, а что-то вроде гипсовой куклы. Впрочем, у куклы было человеческое лицо, и на нем при виде Зыбина показалось даже какое-то подобие улыбки.

– Вот, – сказала лицо, – кормят с ложечки, все как в кино...

– Здравствуйте, Веня, – тихо сказала Тина.

В палате кроме Клима были еще три человека: двое лежали, растянутые противовесами, переброшенными через блоки, а один сидел на краю койки и тихо скулил, поглаживая татуированными ладонями распухшую ногу. У него была никотиновая гангрена – профессиональная болезнь шоферов от курева и сидения за баранкой.

– У тебя время есть? – спросил Клим, и так странно было слышать этот вопрос от гипсового человека.

– Есть, – сказал Зыбин.

Тина собрала посуду с прикроватной тумбочки и вышла из палаты.

– Скажи ей, что ты со мной побудешь, – сказал Клим, – а то ведь она не уйдет, а ей поспать надо, она уже третьи сутки здесь...

– Да, – сказал Зыбин, – конечно...

И когда Тина ушла, Клим вдруг сказал, что он ошибался, что жить все равно хочется, даже так, замурованному, когда кормят с ложечки.

– Но только она, – сказал он, – потому что она все знает и я ей верю; вот она ушла, а я верю, я знаю, что все они твари, я точно знаю, я потому и жениться не хотел... А она – нет, она – душа, чистый дух, София... Сидит тут против меня и говорит, говорит, и хорошо так говорит: вы, говорит, сильные, красивые, любите длинноногих женщин, и чтобы они звонили среди ночи, и устраивали истерики, и закатывали роковые глаза, и мучили, и изменяли, уходили и вновь возвращались, и вам «мерещится, что это Достоевский», а это просто бульварный роман, наивный, как синема двадцатых: пальмы в кадках, намалеванное на стенке павильона море, плешивый тапер с толстой, косо торчащей папиросой неистово дробит вставную челюсть фортепиано...

– Или подросток Шостакович, – сказал Зыбин.

– Да, – сказал Клим, – но это дело вкуса...

– Тебе, наверное, нельзя так много говорить, – сказал Зыбин, – тяжело...

– А, – сказал Клим, – плевать, они вон воевали в таких костюмчиках...

– Кто – они? – спросил Зыбин.

– Рыцари, – сказал Клим, – жил на свете рыцарь бедный...

И еще Клим тогда сказал, что он, наверное, похож од-

новременно на статую Командора и на тень отца Гамлета в каком-нибудь провинциальном спектакле – «Гамлет, принц де(а)тский», – и проводил Зыбина словами: иди, иди и помни обо мне.

А через полгода Клим встал на ноги, и они с Тиной поженились и были счастливы до того дня, когда она вдруг посмотрела ему в глаза и сказала: послушай, а может у меня рак?

– А она не хотела, чтобы к ней ходили, она не хотела, чтобы ей ввали, – говорил Клим, – она хотела, чтобы я ее проводил, потому что она уже все знала, она вообще говорила, что все люди делятся на тех, кто не боится все знать с самого начала, от рождения, и действительно все знает, и кто боится и поэтому не знает ничего, а только делает вид, и никогда не попадает в такт, и все время фальшивит, и все мы еще живем потому, что делаем поправку на эту фальшь, как астроном делает поправку на луч погасшей звезды...

И он говорил еще и еще, и пил, и бледнел, и шли суетливые, испуганные поминки, и вообще все казалось каким-то нереальным, как переползание черных отраженных бликов по белым кафельным плиткам траурного зала городской онкологической лечебницы, где посередине на бетонном постаменте, как на пьедестале, стоял неподвижный гроб, обитый бледным серебристым шелком, по самые борта заваленный цветами, среди которых едва виднелось то, что осталось от человеческого лица – темная, сухая масочка смерти.

– Мы все взаимны, – говорил Клим, – мы все вместе переживаем восторг и ужас этого мира, мы держим покрывало Майи, и когда кто-то уходит, в покрывале образуется прореха и из нее веет вселенским холодком, как там у Сэма: вешка, веха, век двадцатый и еще там какой-то или еще что-то про век... и сквозь вселенскую прореху решкой выпал человек...

И он еще что-то говорил, и квартира была полна народу, и воздух был так густ от дыма, криков, звона посуды, и все это было здесь, в этой квартире, потому что комнатка Клима на Васильевском острове была слишком тесна для поминок.

Видел тогда, как Клим плакал и как капли слез текли в его бороду совершенно как бы самостоятельно и бесстрастно, как потеки дождя по ветровому стеклу.

– Она знала как жить, – говорил Клим, – просто так, понимаешь, ни для чего-то или за что-то, а просто, без чувства обязанности или вины, что в конечном счете одно и то же... В Бога верила, но как-то молча, никому не объясняя, никого не убеждая, только раз сказала, уже в больнице: все верят, все – нет никого, кто бы не верил...

Они сидели на кухне, а со двора в открытую форточку тянуло какой-то мусорной гарью, видно, мальчишки подожгли бак. Слышно было, как кто-то вышел и вскоре вернулся, брал вино у ночных спекулянтов на углу. Потом из комнаты донесся голос Лили, она напилась и стала петь партию Мэри из «Пира...» Пьяный Евгений низко, рыдающе, на какой-то цыганский, кафешантанный манер подыгрывал ей на

скрипке.

– Музыкальная память у меня ни к черту, – сказал Клим, глядя перед собой пустыми черными зрачками, – токкату ре минор помню, какие-то хоралы из «Соляриса», Пятую Бетховена, «Лунную», концерт для скрипки с оркестром Мендельсона... па-ра-ра... па-ра-ра... па-ра-ра-ра-ра-ра...

И опять Зыбин увидел, как в его бороду стекает и впитывается слеза. В какой-то момент разговора он вдруг ясно понял, почти увидел, как они будут жить дальше, как все пройдет – и этот вечер, и другой, и третий, как потянутся между ними серые, однообразные и, в сущности, никакие дни, когда действительно кажется, что начинает сбываться апокалиптическое пророчество о том, что «времени больше не будет», «идея – погаснет в уме». И тут в кухню вошла Лиля с совершенно бледным лицом и сказала каким-то неестественно спокойным и трезвым голосом: мы начинаем умирать.

«Ничего... Никогда...» Зыбин отставляет недопитую чашку кофе, идет в комнату, вынимает ящик письменного стола, перетряхивает какие-то бумаги, старые записи. «...Религиозные действия суть самое духовное и прекрасное, они стремятся соединить даже то, что неизбежно разъединено самим развитием, изобразить это соединение в идеале как полностью сущее, более не протворечащее действительности, следовательно, выразить его в деятельности, утвердить его в ней... Если нечто священное объединяет всех только

в их отречении, в их служении, то каждый, кто обособляется от остальных, лишь восстанавливает присущее ему право, и оскорбление подобного священного предмета или заповеди лишь постольку есть некое нарушение по отношению к остальным, поскольку в этом акте находит себе выражение отказ от сообщества с ними и решимость произвольно пользоваться своей собственностью, будь то время или что иное».

«Время, – думает Зыбин, – собственность... А что, если действительно представить себе дело так, что никакой иной собственности и нет, кроме вот этой вот неопределенной массы прошлого, предстающей порой как целый лес неопостижимых метафор...» Эта мнимая образность, вещественность прошлого иногда страшно забавляла его, особенно когда он находил ей соответствия в видимом физическом мире, где люди представлялись порой какими-то причудливыми сталактитами, свисающими со сводов темных пещер, и время текло сквозь них, и наслаивались воспоминания, и они застывали, и известковый клин продолжал расти, пока не соединялся со своим наземным двойником.

Иногда тот, другой, представлялся Зыбину таким двойником, но при этом было не ясно, кто из них свисает с потолка и капает, капает на темя другого, обращая всю его жизнь в некое подобие затянувшейся китайской пытки.

«Интересно, – думает он, – придет сегодня жена или опять позвонит и скажет, что она у Нели?» И самое странное, что все это будет правдой, она действительно будет сидеть там, в

маленькой кухоньке двухкомнатной квартирке блочного дома на самой окраине города, где по вечерам на фоне зари четко рисуются фермы козловых кранов над мертвыми, недостроенными коробками новых кварталов. Линия новостроек уходит все дальше, дальше, так что иногда кажется, что это какая-то новая форма распространения человеческой популяции по поверхности Земли.

Да-да, конечно, они будут сидеть там, потому что им больше некуда пойти, им всем уже некуда деться друг от друга, и Неля, сама до полусмерти угробленная парами ртутного заводика, тихонько чадившего во дворе, где прошли ее, Нелины, детство и юность, просто принимает этот факт – того, другого – как неизбежное зло, полагая, наверное, в немощи своей, что все равно уже ничего изменить нельзя и что где-то там, в иной жизни, добро и зло уравновесят друг друга и каждому воздастся. Впрочем, ночевать их у себя она никогда не оставляет, это Зыбин знает точно. Одно дело сидеть рядом, пить – это еще туда-сюда, а дальше уже всё, стоп: автобус, метро, такси – есть все же какие-то пределы... Как там у Канта: звезды над нами и закон внутри нас? Поразительные вещи, и никуда, главное, не денешься.

Старший брат Вэвэша при жизни рассуждал так: формула «Христос – Антихрист» заключает в себе противоречие личности и понятия, а посему не вполне корректна. Он еще говорил о том, что в царстве понятия «Христос» – если формально скорректировать выражение – людей объединяет лю-

бовь, а в царстве Антихриста – ненависть. При этом сами объединяющиеся в царстве Антихриста порой не вполне понимают природу своей солидарности, им зачастую довольно самого факта объединения, в котором едва ли не главным моментом является момент количества...

«Да, конечно, – продолжает рассуждать Зыбин уже более чем через полтора десятка лет после смерти брата, – от предмета ненависти человек зависит, в уничтожении его видит гарантию своей свободы, и здесь заключается ошибка любого правозащитного движения с политическим уклоном. Ибо человек, впавший в грех ненависти, невозвратим, невозрожден, и в этом, наверное, одна из причин слабого влияния нашего недавнего прошлого на настоящее в смысле очищения и покаяния...»

Нелька долго не могла развестись, да и брак-то у нее был какой-то нелепый: не по любви, не по расчету, а как-то так, по обстоятельствам, точнее, по совокупности обстоятельств, как срок заключения, назначаемый судом по целому своду деяний. Хотя все «обстоятельства» исходили от него, от Григория, которого Зыбин видел всего-то один раз, когда они с Вороном приехали к Нельке в новую квартирку – сырой бетонный бункерок в панельной многоэтажке, – для моральной поддержки во время их очередного свидания. Тот явился и начал мутить: ты, мол, чего-то там не докажешь и половина этой квартирki отойдет ко мне...

Говорили они на кухне, а Зыбин с Вороном сидели в комнатке за стенкой и слушали долетающие сквозь стенку обрывки до тех пор, пока Григорий не сказал весьма громко, что сейчас он выйдет на балкон и крикнет шоферу стоящей внизу, у свежего газончика, черной «Волги», чтобы тот возвращался в гараж и завтра утром опять бы припарковался у этого подъезда, похожего на большой бетонный писсуар. И он бы, наверное, так и сделал, потому что ему нужно было, чтобы кто-то, пусть даже личный шофер, зафиксировал факт его проживания в Нелькиной квартире и мог это засвидетельствовать на суде, где решался вопрос то ли о жилье, то ли о прописке, в общем, тянулась какая-то бюрократическая волянка, от которой зависело, будет ли Григорий и дальше восходить по номенклатурной «лестнице» или споткнется, как он споткнулся на пороге комнаты, когда на пути к балконной двери перед ним вдруг возник Ворон.

Он вскочил сразу, резко, Зыбин даже и дернуться не успел, а Ворон уже стоял посреди комнаты, чуть качаясь из стороны в сторону и свободно бросив вдоль тела тяжелые жилистые кисти с разбитыми костяшками. А на драку Григорий уже не пошел, хотя вроде бы и не очень трусил, во всяком случае Зыбин ничего в его лице – широкоскулом, носатом, с большими серыми, чуть навывкате глазами, сивыми усиками над верхней губой – не заметил. Только что-то пробурчал насчет «засады», на что Нелька за его спиной со смешком брякнула, что, мол, напрасно он думает, что она

такая одинокая и незащищенная. И тогда Григорий ушел, и не то чтобы он сразу сник, а просто в нем, видно, что-то старое дрогнуло: как-никак отец Алены, хоть Нелька и говорила ему, что это не он, но он-то ее знал, но почему-то не опровергал, ничего не доказывал, наверное, ему так было удобнее в каких-то своих, «лествичных» видах.

И тогда, на прощанье, уже стоя в дверях и рассеянно слушая блуждающий гул кабины лифта, он только попросил, чтобы Нелька не подавала на развод и на выписку, и он тоже исчезнет, а возникнет только тогда, когда поднимется на такой уровень, где ни одна собака уже не посмеет гавкнуть что-то типа: «Развод – да это же аморалка!» – и прочее.

Говорил он это все уже при Зыбине, при Вороне, не стесняясь, поняв, наверное, что они не такие люди, чтобы кому-то сознательно, скажем, из сволочизма как такового, сделать гадость. Просто для них все эти «лествицы», номенклатурные страсти – пустой звук, сотрясение воздуха, операции с мнимыми величинами. И не от гордости, не от того, что мы, мол, «выше этого», а просто от того, что душу не задевает. Как, скажем, кого-то не трогает опера или балет – «дрыгоножество».

Один только разговор вспомнился, примерно пяти-шестилетней давности. И не его собственный с кем-то, а жены с Нелькой по телефону, где Нелька словно бы извинялась за то, что не приедет к Зыбиным после ресторана, куда ее пригласил сокурсник, председатель институтского интерклуба,

который в то время, когда Нелька стояла в телефонной будке, все перебежал с одной стороны улицы на другую и ловил такси. Зыбин еще тогда подумал, как все быстро получается у некоторых людей: только, что, кажется, Нелька была у них, примеряла одно из Лилиных платьев и как бы между делом спрашивала, как себя вести, а его жена отвечала, что «в этих делах заранее никогда не знаешь, что бывает иногда совсем какое-то маленькое обстоятельство, мелочь: телефон зазвонит в самый тонкий момент или такси он долго ловит, а у тебя уже пропадает настрой, или вдруг все просто так проходит, ни с того ни с сего, хотя вроде все к этому шло, в общем, по-разному...»

– А мне кажется, – сказала тогда Нелька, – что здесь знаешь уже все с самого начала, просто смотришь на человека – и уже видишь, может ты с ним быть или нет, а, Веня?

– Я? – Зыбин поднял голову от книги – они сидели тогда в большой комнате, Нелька уже оделась и красила ногти, а он просто взял наугад с полки какую-то книгу, кажется, сборник Теннесси Уильямса, и слепо шарил глазами по строчкам, делая вид, что он вполне естественно относится к тому, что его жена говорит при нем такие вещи.

– Да, – сказала Нелька, – надо ведь и у мужчины спросить, что он думает по этому поводу?

– Я думаю, – сказал он, – что человек, конечно, об этом знает, но это знание скрыто так глубоко, что он ни о чем не догадывается до тех пор, пока это предчувствие не становится

ся фактом...

– Понимаешь, – сказала жена, стуча горлышком бутылки о край стакана, – фак... том!

И тогда он резко захлопнул книгу, бросил ее на стол и вышел на кухню, но оттуда все равно слышал, как жена говорила, что есть случаи, когда с кем-то нужно лечь просто для дела, и вот тут все ясно с самого начала, без всяких там предчувствий, и что когда она уезжала на сезон в Сыктывкар... Этот город в воображении Зыбина имел какие-то геометрические очертания, что-то вроде октаэдра неправильной формы, типа плана Петропавловской крепости на старых петровских картах, и потому вся та история – жена тогда уже, не стесняясь, стала рассказывать подобные вещи при нем – представлялась какой-то холодной, механической, двухмерной, как теорема о вхождении, скажем, треугольника в параллелепед.

– Так вот там, – продолжался волнистый низкий голос жены, – я бы никогда не сыграла донну Анну, и потому еще до начала распределения, когда я уже предчувствовала...

– Да-да, – перебивала Нелька, – я понимаю, но сейчас я боюсь...

– Чего ты боишься? – спросил Зыбин, возвращаясь в комнату.

– Всего, – сказала Нелька. – Я боюсь, что это платье мне не идет, что, когда заиграет музыка и он пригласит меня танцевать, у меня обязательно отвалится каблук, что там будет

накурено, и у меня потекут глаза, и он подумает, что я плачу от каких-нибудь чувств...

– Не бери в голову, – сказала жена, – а туфли я тебе дам запасные...

Она вышла в комнату Дениски и принесла коробку с новенькими лаковыми лодочками, сказала: вот, нам в магазин принесли, я тебе подарок хотела на день рождения сделать.

– Спасибо, – сказала Нелька, а потом вдруг вздохнула и добавила: – Я сто лет в ресторане не была...

Она ушла, а жена выпила еще пару стаканов вина и уснула, и Зыбину пришлось раздевать и укладывать ее в постель, и при этом она еще как-то слабо отталкивала его вялыми нерешительными руками и бормотала: не лезь, отстань, не сейчас... – а он продолжал стаскивать с нее юбку, морщась от жалости и отвращения.

И тут вдруг раздался звонок, и он снял трубку, и голос Нельки сказал, что она не приедет к ним, как они договаривались.

– Почему? – спросил Зыбин, – что-нибудь случилось?

– Нет, – сказала Нелька, – ничего не случилось... Пока еще не случилось.

– Ясно, – сказал Зыбин, – значит, Вадика пока можно не беспокоить?

– Какого Вадика? Ах ты про это, – вдруг засмеялась в трубку Нелька. – Нет, конечно, конечно, нет...

– Ну тогда ладно, – сказал Зыбин, – а то как бы аист не

прилетел...

– Да ну тебя, Зыбин! – опять засмеялась Нелька. – Дай мне Лильку!

– Лилька в люльке, – ответил он, – я перейду на кухню, мало ли, проснется...

Он положил трубку на серую шершавую обложку журнала, лежавшего на ночном столике в изголовье тахты, и, стараясь не шаркать тапочками по паркету, вышел.

– Уже? – спросила Нелька, когда он снял трубку параллельного аппарата. – Напилась в сиську?..

– Угу, – сказал он.

– Я тут тоже, – сказала Нелька, – но так, слегонца...

– То есть не вдребезги? – сказал Зыбин.

– Шампанского давно не пила, вот и ударило, – засмеялась Нелька. – Да-да, я кончаю...

Последние слова были сказаны уже не в трубку, а тому, другому, который стоял рядом и, по-видимому, с легким ревнивым раздражением держал перед ней распахнутое настежь пальто. У Зыбина в голове даже мелькнула вдруг сэмовская строка: «Однажды утром не в мои объятия ворвется жизнь, распахивая платье...» Почти бессловесно, скорее как звук, как ритм, который тут же перебил пьяный женский голос в наушнике.

– Кончаешь? Только начала, и уже кончаешь – ай да Нелька, во повезло, сидела, сидела, и вдруг – бах, и на тебе!.. А тут бьешься, бьешься, и ни фига...

– Лилька, а ты откуда?! – воскликнула Нелька на том конце провода. – Зыбин сказал, что ты уже отключилась...

– Тогда отключилась, а теперь взяла и подключилась, – насмешливо перебила жена, – дай, думаю, послушаю, с кем это мой Зыбин шуры-муры по телефону крутит? Кому это, думаю, он еще понадобился?

– Шутка, – сказал Зыбин, – это моя Лилечка так теперь шутит: проснулась, трубочку взяла и шутит...

– Конечно, Венечка, – грустно отозвалась Нелька, – ведь ты у нас самый лучший, самый золотой...

– Вот и забирала бы себе этого золотого, – зло перебила жена, – а то только и знают, что обои поклеить, замок вставить... Кто? Зыбин.

И с жестким холодным стуком бросила трубку на рычажки.

– Ну иди, Нелечка, он ждет, – пробормотал Зыбин в микрофон, – иди, не бойся, все будет хорошо, звони, если что...

Положил трубку и подумал: а чем он может помочь, если что? Да и что там такое необыкновенное может случиться, в конце-то концов? Однако случилось: Алена. Ничего, в общем-то, особенного, даже хорошо, правильно все вышло, хоть Лилька и предлагала Нельке пригласить Вадика: чисто делает, рука набита, к тому же все тихо, дома. Отказалась. Сказала: он, конечно, негодяй, но такая уж я дура уродилась, что после него никого другого даже вообразить рядом не могу, так что уж пусть от него у меня хоть что-то останется...

Говорила, а они с женой вдвоем сидели на кухне и слушали, слушали...

А к вечеру того дня, когда они с Вороном объяснили Григорию, что он не прав, и он ушел, Нельке стало плохо с желудком: язва открылась. Зыбин кинулся к телефону, но Нелька сказала, что сейчас придет из школы Алена, у которой все это получается гораздо лучше. И это было правдой и даже почти чудом, когда девочка-подросток провела ладонью, как бы разглаживая воздух над неподвижно лежащей женщиной, и вдруг остановила свою хрупкую, почти прозрачную руку, которая почти незаметно для глаза затрепетала как... жаворонок?

– Ну что, мама? – спросила девочка.

– Все хорошо, – сказала Нелька, – спасибо, милая, а теперь ложись...

Алена легла на диван, а они все вышли, и Нелька сказала, что Алена теперь будет спать, что после таких сеансов они спит иногда целые сутки, и что до этого сеансов было всего два, и что обнаружилось все совершенно случайно, когда Алена первый раз просто приложила руку к ее животу, пока они ждали «скорую».

– А потом ее комиссия смотрела, – сказала Нелька, – и они спросили, как она это делает, и Алена сказала, что она ладонью ощущает вокруг человека какую-то плотную оболочку, но в некоторых местах чувствует в ней какие-то слабые

места, как на старом пальто, и тогда она останавливает над этим местом руку и чувствует, как ладонь начинает как бы тянуть что-то из тела...

– Ерунда, – сказал Ворон, – самовнушение...

– Нет-нет, – возразил Зыбин, – что-то здесь есть, что-то непременно есть...

– А ее бабка по отцу заговором лечила, – сказала Нелька, – у них вообще род был очень сильный, дед змей взглядом отводил...

– Это еще как? – спросил Ворон.

– А так, – сказала Нелька, – гадюка ползет, а он встанет перед ней, посмотрит и тихо-тихо так начинает бормотать: «Куда ползешь? Иди вон в болото...»

– И она слушалась? – спросил Ворон.

– Да, – сказала Нелька, – я сама видела.

Впрочем, насчет того, что Нелька «сама видела», Зыбин сильно сомневался. Ведь тогда выходило, что этот Григорий возил ее к своим, представлял, наверное, как невесту или уже как молодую жену... Но почему бы и нет: они ведь какое-то время и в самом деле жили как муж и жена, правда, недолго, недели три-четыре, в Нелькиной комнатке с окном на огромный кирпичный храм-склеп с закопченными трубами вместо крестов. Ртутный заводик. А отсюда уже все остальное: Нелькины инсульты, язва – инвалид в тридцать два года. Со следами былой красоты, кроме шуток.

Лежит иногда неделями пластом, даже трубку взять не

может, Алена за нее отвечает, и при этом никого не винит. А как чуть начинает оклемываться, звонит сама: Венечка, здравствуй, как вы там?

– Да так, нормально, – отвечает Зыбин, – я четыре дня как вышел, вот ремонт хочу сделать на кухне, потолок побелить, а то совсем желтый сделался от дыма... А ты как?

– Нормально, – отвечает Нелька чуть подрагивающим от слабости голосом, – вот видишь, разговариваю, трубку держу, радио слушаю...

– Н-да, представляю, – бормочет Зыбин, – у вас не очень жарко?

– Нет, ничего, – говорит Нелька, – Алена перед уходом все окна открывает и балкон, так что ничего...

«Вот так, ничего, – думает Зыбин, – никогда не жалуется, кажется, помирать будет, и то скажет, что и в этом, в общем-то, ничего особенно страшного нет, и не такие люди помирили...»

Она еще спрашивает про жену, про Дениса, и Зыбин отвечает, отвечает, постепенно подводя разговор к тому, что как только он немного окрепнет – «я там лежал почти все время, мышцы слегка атрофировались, а сейчас начну двигаться, потолок размывать, они и подтянутся», – то он сразу же приедет, поможет, если что там надо приколотить, покрасить...

– Нет-нет, – пугается вдруг Нелька, – сейчас приезжать не надо, я такая стала страшная... Не хочу, чтобы кто-то меня

видел, кроме Алены. Я даже в зеркало боюсь смотреться – не верю, что это я...

– Так когда приезжать? – спрашивает Зыбин. – Когда согласишься? Или когда с постели встанешь, накрасишься?

– Я думаю, этот процесс пойдет одновременно, – говорит Нелька, – с двух концов, как в учебнике: из пункта А в пункт Б вышел пешеход, а другой пошел ему навстречу...

«Пешеходы не встретились, – машинально заканчивает про себя Зыбин. – Почему? И ответ: не судьба».

Впрочем, это все ерунда: Нелька время от времени почти совсем оправляется, встает, гостей принимает, печет что-то в духовке, схватив вышитым полотняным обручем редкие седые пряди. Обруч ей Алена подарила на день рождения. Харе Кришна... Они тогда целой компанией к Нельке явились: в табы колотили, палочки жгли, плясали, пели. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Ра-ама!.. Нелька потом говорила, что ей вроде как получше стало после этого на некоторое время. Все может быть, все может быть...

Когда-то, еще в самом начале знакомства, Лиля привела его на какой-то любительский спектакль в длинном низком подвале, сплошь затянутом пыльной пахучей мешковиной. Студенты – кажется, это был курс какого-то технического института, – играли своего автора: ходили по кругу, переносили черные картонные кубы, складывая и тут же разбирая стену, и перебрасывались какими-то бессмысленными сло-

вами: карва... муиум... и прочее. Лысый, носатый, в черной, изодранной в лохмотья рясе взбирался на куб, говорил, подняв палец: щетка! И все опять начинали кружиться и повторять, то рассыпаясь, то вновь попадая в такт: щетка!.. щетка!..

Зыбин забыл имя автора. Жена как-то приводила его, года через три после того вечера, потому что Дениска тогда только-только начинал говорить, и автор ушел к нему в комнатку и играл с ним весь вечер, так что в кухню долетал только мягкий взрослый баритон и визгливый детский дискантик. Зыбин вспомнил имя: Ярослав. Жена называла его Ярик – коротко, по-свойски.

Потом где-то случайно попала на глаза визитка, сделанная с каким-то легким японским изяществом: «Розенталь Ярослав Максимилианович. Книжная графика. Интерьеры». Рамочка – тушь, перо. Веточка то ли рябины, то ли мимозы в левом верхнем углу. И длинный подробный адрес: электричка, автобус, а там то ли на телеге, то ли на тракторной волокуше – кому что нравится. С немецкой педантичностью; отец его, говорила жена, из казахстанских немцев.

Зыбин тогда зачем-то воткнул эту визитку уголком в щель между обшивкой и корпусом приемника, и она торчала там лет пять или даже больше – не помнит, – и вдруг что-то как толкнуло изнутри: поезжай. И он поехал, удивляясь тому, что все совпадает: и название станции, точнее, полустанка, и номер автобуса – скрипучего, расхлябанного на проселоч-

ных ухабах «ПАЗика», который довез его почти до места.

Зыбин прошел краем картофельного поля, миновал жидкие ольховые посадки и увидел рубленый дом на опушке. Хозяйство оказалось небольшое: куры, гуси, четыре козы, кавказский овчар с широкой и словно закопченной мордой. Жена, три дочери-погодки, младшей лет восемь.

Ярослав тогда уже все знал про него, и наутро, как проснулись, сказал: идем. Пошли. Сначала спустились по обрыву к реке, разделись донага, постояли босыми ступнями на плоских мокрых камнях, глядя на восходящее над лесом солнце, потом, обвязав бедра какими-то тряпками, поднялись по склону к большой бревенчатой халупе без единого окна, где Ярослав усадил Зыбина в угол на широкий плоский пень, а сам стал зажигать глиняные плоски в проволочных клетках, гроздьями свисавших с закопченного дощатого потолка. Огонь плясал, клетки раскачивались, Ярослав враскачку бродил между ними, низко утробно гудел, раздувая тонкие ноздри, ритмично лупил двумя деревянными колотушками по металлическим трубам и гонгам, свисавшим с грубо обтесанных потолочных балок, бил в выгнутые прутья клеток узким голым лбом, на котором оставались черные штрихи... Глядя из своего угла на этот странный танец, Зыбин вдруг почувствовал, как в нем тоже накапливается и созревает какой-то звук; он почти физические ощутил, как этот звук твердеет, опираясь на диафрагму где-то под ложечкой, и вдруг что-то там лопнуло, и он услышал крик словно отку-

да-то со стороны, крик страшный, дикий и в то же время такой, какой был бы, если бы кричал совершенно другой человек, а он, Зыбин, только с любопытством и даже с некоторым страхом прислушивался к крику этого другого человека.

И уже потом, вечером, когда они сидели за струганым дощатым столом и пили чай из самовара, а из широкого темного зева русской печи сытно пахло сушеными грибами, Ярослав сказал, что тот, кричавший, и был другой человек, и что в каждом живет вот такой двойник, и с ним надо просто уметь ладить, и что здесь у каждого свой путь: кто-то пьет, кто-то пишет стихи, кто-то соблазняет женщин, кто-то рисует картинки...

Но все это у других: Сэма, Григура, а как же он, Зыбин? Так и останется вечным зрителем, тем «церковным сторожем, который сидел на паперти, наблюдая ход лета?..»

Сэм налетает порой, как короткая стихия, неизвестно откуда, на сутки, на вечер, на час; сядет за старенькую трофейную машинку Continental – был еще какой-то Smith-Premier с двойной клавиатурой, так Семен забрал на какую-то постановку – и все, с концами, – задумчиво, как сомнамбула, потыкает двумя указательными пальцами в эбонитовые кнопки литер, оставит в каретке полузакушенный лист, побродит по коридору взад-вперед, постукивая ногтем по обломку мраморной плиты, желтой, как сало, с двумя выпуклыми ангелочками и виноградной гроздью – Дениска на-

шел в каком-то подвале, – побормочет, побубнит: писателем становишься не тогда, когда почувствуешь, что не можешь не писать, а когда почувствуешь, что можешь уже и не писать, не доказывать себе каждую минуту: я писатель!.. я писатель!..

А ведь было время, где-то, кажется, в Вологде, куда вызвали его на постановку, а потом вдруг отказали или отнесли постановку в самый конец сезона то ли потому, что запил один актер, то ли по причинам амурного свойства – Сэм не уточнял или Зыбин забыл? – но факт тот, что Сэм остался в гостиничном номере на скудном пайке и ему ничего не оставалось делать, кроме как писать, писать...

– По десять часов в день, – говорил он случайно, проездом, завернувшему в Вологду Зыбину, – вот, смотри!..

И он широко распахнул дверь крошечного одноместного номера, где вдоль голых, крашенных масляной краской стен тянулись связанные узлами бельевые веревки и на них, буквально по числам, скрепками приколоты были разнокалиберные бумажные клочки, пестрые от машинописи.

– Вот, – сказал Сэм, – труды и дни, а всё почти дрянь...

– Почему? – вяло поинтересовался уставший с дороги Зыбин.

– Да так, – сказал Сэм, – дрянь, и все...

День клонился к вечеру, они наскоро перекурили и пошли обмывать встречу в местный ресторан, а когда вернулись, Сэм поставил посреди номера битый эмалированный

таз, подхваченный по пути из ресторана на какой-то свалке – зачем, Сэм? – Надо!.. – и из всех этих ключьев устроил в тазу посреди номера костер, так что утром Зыбин нашел под раскладушкой только один обгоревший листочек, на котором уцелели только три строчки: «...говорят, что мне плохо будет, если я не возьмусь за ум... Я берусь и хожу по квартире, я курю, к окну подойдя, хорошо мне в полночном мире жить и думать под шум дождя...»

Сэм тогда заметил у него эту бумажку, взял, повертел, сказал: господи, как же это все провинциально... Они вышли пить пиво, а днем Зыбин улетел в Архангельск, там один друг обещал пристроить его учетчиком леса к одному лесозаготовителю.

«Господи, как долго тянется день, – думает Зыбин, – и вообще странно получается: дни тянутся медленно, а жизнь летит быстро и одновременно долго, так, во всяком случае, кажется, и притупляется чувство времени, почти исчезает, начинает даже казаться, что живешь вечно и что это уже никогда не кончится, только Григур иногда странно задумывается и говорит, что никак не может понять, почему он живет именно сейчас, именно в это время, а не раньше, не позже – к чему все эти дурацкие вопросы?»

А в глубине двора всё еще разгружали хлебный фургон, и можно было перейти двор и подняться под самую крышу в мастерскую, чтобы просто сесть в угол и смотреть, как Гри-

гур раскладывает по половицам куски картона, мажет клеем ровно обрезанные края, раскатывает полосы синтетической ткани – нарезал лентами мешки из-под кофе, – потом как-то крепит на всю эту конструкцию диванные пружины... Впрочем, это было давно, года полтора, потом он от этого отошел.

Но в мастерскую рано, Григур еще спит, он всю ночь работает, а ложится только под утро – труженик, страшный труженик... Кто-то из недавно преуспевших даже съехидничал: ему, мол, мешает только то, что он слишком похож на художника, – и одной глупостью в мире стало больше. А ему действительно все равно: волосы, борода, брезентовые штаны, куртка с огромными карманами прямо на голое тело – он и иностранцев так принимает, когда приводят к нему за десять процентов. Комиссионные – ведь не будет же он сам за ними бегать.

Застал как-то у него то ли корейцев, то ли японцев: маленькие, большеголовые, тихие, прищуренные, с кроткими фарфоровыми улыбочками на плоских смуглых личиках. Они раскрывали папки с листами графики, шуршали тихими графитовыми голосами, а один все нырял в составленные вдоль стен штабеля подрамников, щелкал ногтем по какой-нибудь деревянной рейке, и Григур, закусив мундштук папиросы, вынимал холст и ставил его на мольберт посреди мастерской.

Японец (кореец) опять улыбался, вопросительно тыкал пальчиком в объектив «Кодака», Григур кивал и коротко,

по-английски, говорил: уан доллэ – один доллар. Тот с готовностью кивал вороной головкой, щелкал вспышкой и делал отметку в блокнотике. В какой-то момент Григур незаметно сунул Зыбину в карман пиджака свернутую бумажку, шепнул: сбегай, будь друг!

Зыбин дошел до магазина на углу, а когда вернулся с тремя бутылками портвейна, Григур стоял посреди мастерской, жевал потухшую папиросу и натягивал на подрамник холст, приколачивая край сапожными гвоздиками.

– Ну как? – спросил Зыбин, выставляя бутылки.

– Так, – сказал Григур, передернув плечами, – средненько... Имени, говорят, у вас нет, вот и весь сказ...

Только присели за столик в центре большой комнаты под лампой, вделанной в отражатель автомобильной фары и прикрученной к потолочной балке, как в дверь загрохотали условным стуком: один длинный – два коротких – и опять длинный. Стук был предыдущий; к Григуру уже месяца полтора стучали четыре коротких, но удары были сильные, характерные, и они оба сразу поняли, что это может быть только Ворон.

Зыбин остался за столиком резать колбасу, а Григур пошел открывать. Это и в самом деле был Ворон. Он встал в дверном проеме и, косо стягивая на плечо мокрый черный капюшон плаща, сказал: пять тысяч семьсот девяносто восемь.

– Чего пять тысяч семьсот девяносто восемь? – спросил

Зыбин.

– Ч-число т-такое по-получилось, – сказал Ворон, – пока ехал н-на т-трамвае, в автобусе, в м-мет-тро... Еду и считаю п-про себя: р-раз... д-два... Н-надо же за что-то держаться. А он вон к-как далеко за-забрался, с-свалку из окон видать, с б-бомжами...

– Кто забрался? Какая свалка? Какие бомжи?

Постепенно все разъяснилось. Оказалось, что Ворон уже месяца полтора-два втихаря подбирал сэмовские вирши, раскиданные на клочках по углам зыбинской квартиры, и когда их набралось довольно порядочно – канцелярская папочка в палец толщиной, – отнес, точнее, отвез их одному стареющему мэтру, живущему где-то на самом краю городской ойкумены.

– Пришел к нему, – сосредоточенно бубнил Ворон, держа в ладони стакан, – а он после операции, наполовину глухой, все лицо в парше какой-то, а я встал на пороге, мокрый, в этом балахоне, как водяной монах, папку двумя руками к груди прижимаю: вот, говорю, был у меня д-друг... А голос срывается, глотаю, хорошо, рожа и так от дождя мокрая, так что вроде как и плачу при этом и повторяю: д-друг у м-меня б-был!.. А тот на уши свои показывает и аппарат в пальцах вертит: сломался, мол... И тут я понял, что пробил мой час, и я ему на пальцах показал, что аппарат я ему сделаю, и тогда он показал: мол, проходите, и я прошел и стал чинить аппарат, там фигня оказалась, контакт отошел, но я тянул и

краем глаза смотрел, как он читает, и он вдруг поднял голову и так посмотрел на меня, что я понял, что этот человек уже тоже где-то в тех местах был – или реанимация или еще что-то вроде, – посмотрел и спрашивает: давно? Я говорю: сорок дней, на пальцах показал, четыре пальца и бублик, – а потом дал ему аппарат, и он надел, и мы с ним сели и стали Сэма поминать – ха-ха-ха!..

Зыбина тогда даже передернуло от этого неожиданного смеха, и он что-то буркнул насчет подобных шуточек: что это, мол, вроде как-то не того, – но на это тут же возразили и Григур и Ворон, матерям которых в войну на мужей похоронки приходили. Причем на григуровского отца даже две.

– Пехота, – сказал Григур, – а воевали-то больше числом, мне отец говорил... Так что на этот счет бояться нечего, а опыт сам по себе любопытный: Сэм не обидится, поймет, сам первый хохотать будет. Если, конечно, клянет...

Клюнуло. Месяца через три, кажется, на Крещение, жена принесла с работы толстый периодический журнал, вошла на кухню и, как-то странно усмехаясь, протянула его через стол Зыбину.

– Что? – спросил он, поднимая глаза и глядя на угол проездной карточки, торчащий из свежего журнального обреза.

– Посмотри и увидишь, – сказала жена.

Зыбин развернул журнал на месте закладки и увидел на странице стихи, напечатанные в две узкие колонки. Стихотворений было всего пять или шесть, все короткие, все неиз-

вестные, и над ними было крупно и жирно напечатано: «Семен Лианович. 1951–1988». Все чин по чину, как на надгробии. Как в отрывном календаре. Как в известковых отложениях архивов.

– Тридцать семь... «Мне пушкинский возраст ложится на плечи», – с усмешкой процитировал Зыбин и крикнул в комнату: – Сэм, ты там еще живой? Покажись!

– А что, возникли сомнения? – прокричал в ответ Сэм.

Потом натужно заскрипело кресло, протяжно зашаркали по паркету стоптанные задники тапок.

– А может, это не он? – вдруг прошептала жена, когда Сэм встал в дверном проеме за ее спиной.

– Об чем речь? – поинтересовался он. – Точнее, об ком?

– Обком, райком, желтый дом, – сказал Зыбин, протягивая ему развернутый журнал, – вот, глянь...

Сэм взял журнал, воткнул взгляд в страницу, выдержал короткую паузу, а потом тихо, но довольно отчетливо произнес: «Это что за хрень? Мог ли он стать настоящим большим поэтом? Наверное, мог, но его короткая яркая жизнь... О, господи, какая пошлость! Но кто? Какой идиот все это подстроил?»

– А что? – сказал Зыбин. – Все нормально, пиши теперь роман, я отнесу, скажу, что нашел среди бумаг покойного поэта...

– Собрание сочинений в трех томах наваляй, – сказала Лиля, – тоже тиснут. Родственников у тебя теперь нет, гоно-

рар платить некому...

Весь декабрь и начало января Сэм просидел у больничной койки отца в Курске, а только и высидел, что слабое холодное рукопожатие напоследок.

– Какой еще гонорар, блин? – поморщился Сэм, шурша шероховатыми страницами. – Мне интересно знать, кто и где всю эту чепуху подбирал?

– Крокодил съел у Варвары зеленую юбку и правильно сделал, – засмеялась Лиля. – Не фиг все везде раскидывать: ты как уезжаешь, я потом еще неделю по всей квартире твои грязные носки собираю, стыдно, Сема!

– Так это, значит, месть, да? – вздохнул Сэм, захлопывая журнал. – За носки, да? Совсем как в анекдоте: дурак ты, боцман, и шутки твои – дурацкие...

В тот вечер они не стали уточнять, кто боцман и чьи это шутки, тем более что вскоре Зыбин подсунул журнал Ворону, и тот сам признался Сэму, что хотел сделать ему «сюрприз», подарок, по старой дружбе, отчего Сэм побурел, как свекла, надулся и мрачно пробурчал что-то в том смысле, что «упаси меня бог от друзей, а от врагов я уж сам как-нибудь уберегусь». Тут уже Ворон набычился, сказал, что «не ожидал, никак не ожидал, тем более что хотел искренне, от всего сердца...»

– Что-о?! Вы слышали? – взревел осатаневший Сэм, потрясая над столом уже изрядно растрепанным журналом. – Он, оказывается, не просто выдрочиться хотел, а от сердца,

душа у него, видите ли, болела за друга, как же так, тридцать семь, и ничего не сделано для бессмертия! Да что он понимает в бессмертии, козел! Тьфу, мать твою, так бы и дал ему по роже этим вольюмом, так ведь не могу, врожденная интеллигентность не позволяет!

– Ах, он интеллигент, ешкин кот! – прошипел Ворон, мягко соскакивая с кухонного подоконника. – Ручки он свои марасть не хочет, видите ли, об мою рожу! Да ты еще дотянись до нее, на, бей! Что, забздел? Обосрался?

Они стояли по сторонам кухонного стола, и не успел Ворон договорить, как Сэм швырнул журнал и, сбив с клеенки чайную чашку, выбросил перед собой сжатый кулак. Но Ворон все же был профи: он чуть отклонился, пропуская Сэмов кулак мимо скулы, в тот же миг подхватил падающую чашку и, поставив ее на блюде, вновь выпрямился во весь рост.

– Ну давай! Может со второго раза попадешь? – ухмыльнулся он, глядя на Сэма треугольными, чуть прищуренными глазками. – Только посуду не бей, не ты ее покупал. И еще: третьей попытки не будет – ты меня понял?

И встал против Сэма, чуть пружиня на слегка расставленных ногах.

– Понял, – коротко шепнул Сэм, сглотнув слюну и облизнув пересохшие губы, – пойдем выйдем!

И тут уже Лиля вмешалась. Поднялась с места, замахала руками, как бы разгоняя нависший над столом мрак, стала бормотать испуганно, но в то же время с какими-то повели-

тельными интонациями: мол, кончайте, мужики! Вы че, совсем сдурели? Ну пошутил человек! Ты что, Сэм, шуток не понимаешь?

– Ни фига себе шуточки... – пробурчал тот. – Зарыл, можно сказать, заживо, а вы мне еще смеяться прикажете?

– Оставь, Семен, – вступился Зыбин, – не переживай...

– Ставлю коньяк, – насмешливо пробурчал Ворон, – в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, как мой адвокат предлагал, когда я соседу на кухне челюсть сломал... Только он не коньяк предлагал, а чтобы я больничный соседу оплатил.

– Ты, Ворон, не расслышал, – сказал Сэм, – он, наверное, сказал: мордальный? Так-то оно точнее...

После этого они заспорили, кто кому должен ставить бутылку, и в конце концов ушли, напились в рюмочной и оба под случайную метлу – то ли обычный ментовский рейд, то ли какой-то особенный день трезвости, черт их разберет! – попали в вытрезвитель, где Ворон начал было шуметь, но был уже так пьян, что ему слегка отбили, как он сам выразился, «половые яйца». Но били, слава богу, не так чтобы с пристрастием, а больше для острастки, да и как бы попутно, пока привязывали ремнями к креслу.

Так что Зыбины их в тот вечер так и не дождались, но когда Зыбин высказал подозрение насчет вытрезвителя, жена как-то странно усмехнулась и сказала, что могут быть и другие варианты. В том смысле, что если они пошли в кабак,

то Сэм вполне мог там кого-нибудь заклеить – «ему это, сам знаешь, как два пальца...» И не только на себя, естественно, но и на Ворона, потому что всякие любительницы приключений обычно ходят в кабаки по двое. Во-первых, в одиночку боязно, а во-вторых, когда вдвоем, так вроде получается, что «мы не такие...»

«Сэму-то все едино: такие – не такие... – подумал Зыбин, когда жена ушла спать, а он остался на кухне. – Еще лет пять назад на спор клеил, прямо в толпе, среди бела дня, любую, только пальцем ткни, и уже вот она: Алина, Ксения, Валя, Галя... Девушка, что вы делаете сегодня вечером? – Всё... В том смысле, что все умею, только не летаю – о-хо-хо!.. Девки? Бабочки? Да вроде бы нет, по виду, во всяком случае, не скажешь. Как-то Клим то ли со зла, то ли шутки ради ткнул в совершеннейшую развалину, правда, раскрашенную, как княгиня Голицына, та, которая “Пиковая дама”. Думал, Сэм ступшуется – не тут-то было: подкатился и сразу ручку, сумочку, собачку – не было собачки, вру, – и в подземный переход; они следом, любопытно как-никак, а Сэм спустился перед этой “графиней” на пару ступенек, руку ей предлагает и так легко, непринужденно, вполголоса: осторожно, не хряпнитесь!.. Так та даже ноздрей не повела – то ли потому, что глухая, то ли... в общем, так они и ушли, а Клим потом еще долго стоял на месте и бороду чесал, точнее, темя, репу, выражаясь по-простому...»

А Сэм вернулся тогда, кажется, под утро, как раз к тому

времени, когда Дениску надо было в школу поднимать. Зыбин его разбудил, и тут звонок. Открывает, на пороге Сэм. Глаза совершенно осатаневшие, как у Рэма, когда он вмажется. Молча прошел, с Дениской поздоровался, но как-то все рассеянно, как лунатик. Сел на кухне под приемником, стал папиросу в пальцах мять, достал из кармана старую фотографию с ломаными углами и зубчатым обрезом по кайме, протянул Зыбину. Он взял, посмотрел: красивая молодая женщина, снятая в три четверти оборота. Старые годы. НЭП – модерн, точнее, наоборот, по хронологии. Чуть подретушированная тушью, размытая по краям и слегка вирированная сепией карточка – фотосалон Буллы. И при этом свежая подпись на обороте «Поэту Семену Лиановичу от его престарелой музы. О, как на склоне наших дней нежней мы любим и суеверней...»

– Ну-ну, – сказал Зыбин, слушая краем уха, как Дениска в прихожей шумно таскает щеткой по ботинкам.

– Что ты сказал? – Сэм словно очнулся из глубокого забытья и поднял на Зыбина туманный, как на старой фотографии, взгляд.

Зыбин даже на миг испугался, что у Сэма тоже крыша поехала после этой старой ведьмы. Еще бы, сидит человек напротив, смотрит как будто сквозь него и бормочет: «Господи, какая женщина!.. Ну почему, почему я живу сейчас, в этих постылых днях, а не сорок лет назад?! Ну, пусть не сорок, но хотя бы двадцать-двадцать пять, а, Веня?»

– Ну, значит, не судьба... – нерешительно промямлил сонный Зыбин.

– Не судьба? Да-да, ты прав! Ты, как всегда, прав... – вздохнул Сэм и вдруг откинулся спиной к побитой эмалевой стенке холодильника и расхохотался так, что лениво выползший на кухню Кошмар выгнулся подковой, зашипел и, ширя когтями по линолеуму, удрал обратно в комнату.

– Так ты что, с ней в самом деле, да? – Зыбин даже поперхнулся от внезапно подступившего волнения.

– Да ты что, Веня? За кого ты меня принимаешь? – Сэм умолк и посмотрел на Зыбина сухими печальными глазами. – Хотя, мог бы... Представляешь, какой бы я был подонок: старуха одна как перст божий, квартира шикарная, библиотека, антиквариат, живопись на стенах такая висит, что у меня в глазах зарябило... Была певицей, романсы в основном, пластинки мне ставила. Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от неё, она соперниц не имела... и так далее. И почему я не сволочь? Не Герман какой-нибудь? Тройка, семерка, туз – три карты, графиня, умоляю, всего три карты, и я спасен!..

И Сэм опять расхохотался, стуча по столу мундштуком папиросы.

– Ты меня, Веня, прости, – зашептал он, прикуривая от зыбинской спички и морщась от дыма, – но я ей телефончик ваш оставил, так что если позвонит, ты не удивляйся. Старуха почти в маразме, нести будет всякую дичь, разумеется,

но ты сам понимаешь, не мог я ее так бросить...

– Как хоть звать-то ее, твою графиню? – усмехнулся Зыбин, обводя пальцем потертые узоры на бледной клеенке.

– Мадлен Казимировна, – сказал Сэм, – фамилию забыл, то ли Пошесовская, то ли Плесковская...

– Польша или еврейка, – сказал Зыбин.

– Может быть, может быть, – вздохнул Сэм, – я в этом не шибко разбираюсь. Но какая была женщина, Веня, и всего-то каких-нибудь тридцать-сорок лет назад! Разошлись, разминулись, но почему? Почему?

Вопрос этот, естественно, остался без ответа, и, кроме того, Клим не просто поверил в эту историю, но был потрясен так, что даже сел писать сценарий, чтобы подать его на конкурс на высшие режиссерские курсы при ВГИКе. Написал, подал и поступил, хоть перед этим и ворчал, что ни черта из этого не выйдет, потому что там «блат дикий, эти дочки и сынки уже не поодиночке проскакивают, а целыми династиями прут... А я им кто? Автомобильный каскадер: передний мост, задний мост, под откос и пять-шесть переворотов – вот и весь парад алле!..» Ленина цитировал: в стране почти поголовной неграмотности из всех искусств для нас важнейшим является кино – вот, говорил, кто иезуит-то был, Великий инквизитор, в натуре, без всякого романтизма. Курсы свои хаял на чем свет стоит, там, говорил, даже собаку научат кино снимать. Но закончил, снял на диплом что-то весьма странное о Хармсе: кирпичные тупики, брандмауэ-

ры с одним-двумя закопченными склеротическими окошками на всю стену, дворы домов, поставленных на капремонт, безголовые портновские манекены, одетые в простроченные ватники, – гибрид зоны и Колизея. С той лишь разницей, что там травили первых христиан, а здесь – последних. Пока снимал, умудрился квартиру однокомнатную выхлопотать от Комитета по здравоохранению: туберкулез у него вдруг обнаружился, каверны в легких открылись...

А стихами в журнале, в смысле, посмертными, от «безвременно погибшего», дело не кончилось. Идею тогда пустили как бы в шутку, мол, отыскались и еще рукописи, хотел, дескать, сам кому-нибудь показать, но то ли робел, то ли погряз в житейской суете, но вот теперь, когда он... И опять слеза, потрепанная канцелярская папка в дрожащей руке, всё в эдаком скорбном, поминальном стиле: быть может, он для блага мира иль хоть для славы был рожден... Сэм, когда они с Вороном выходили, кажется, это самое в дверях и буркнул. А после где-то в пути, точнее, на каком-то из этапов «рюмочная – пивной ларек – вытрезвитель», стали развивать, приплетать какие-то детали, биографию. Мистификация. Черубина де Габриак. Козьма Прутков. Ворон конкретно внушал: цель у тебя какая? Явление показать? Текст донести до народа? Или себя выставить: вот, мол, любуйтесь, как там у тебя: на пьедестале встал гранитный... Может, как раз этим и дожал. Сэм потом говорил, что они до этого пункта в мили-

цейском фургоне договорились и еще продолжали в вытрезвителе, пока сержант протоколы заполнял.

В чемодан свой полез через день, когда в себя немного пришел, вытрезвился, проспался. Раскрыл посреди комнаты, папки разложил по всему полу, перед тем как смотреть, где что, вышел на кухню, закурил, хлебнул остывшего кофе. Пробормотал что-то типа: мол, все как бы нормально, и Ворон прав насчет «высказывания», а кто там автор, живой он, нет – дело десятое, и вообще писатель не профессия, а так, способность впадать в состояние «блаженного идиотизма»... Параллельная личность. Лунатик. Эпилептик. Веня слушал, кивал: да-да, все так, погружение, и автор, если так посмотреть, это как бы и не совсем ты, тело только одно, оболочка. Пока пишет – живет; точку поставил – помер. Так что никаких противоречий, Ворон прав. Угу, соглашался Сэм.

Когда вернулись в комнату, где были разложены папки, увидели Кошмара, осторожно, с лапки на лапку, переступавшего по картонным обложкам и нюхавшего замусоленные, завязанными бантиками ленточки. Сэм замер на пороге, прошептал: «Т-с-с!.. На какую ляжет, ту с Вороном и зашлем». Кот, похоже, прочел мысль, устроился на сине-серой, цвета милицейской шинели картонке «Дело № 11». Цифра была вписана химическим карандашом, где-то растеклась, полиловела. Ниже была приклеена перевернутая перфокарта с надписью шариковой ручкой «Бумажный занавес». Внутри

оказалась стопка листов, где-то схваченных скрепками, где-то переложенных мутной, как мыльный пузырь, копиркой. «Это я в гостинице, в Калуге, – бормотал Сэм, раскладывая листки, сверяя текст, помечая страницы. – Циолковский. Ракеты. Полеты. Вот и навеяло, вознесся духом».

На другой день решили устроить читку. В узком кругу, только свои. Любаша. Ворон. Клим. Евгений. Григур. Сперва хотели дома, на кухне, но потом решили, что это будет как-то слишком обыденно, и перенесли действие в григуровскую мастерскую. Расставили по углам портновские манекены, зажгли свечи. Сэм устроился за круглым столиком на шатких ножках, поставил на пол откупоренную бутылку сухого вина на случай, если в горле запершит, слева установил торшер: лампочку на облупленной никелированной стойке, прикрытую вместо колпака отражателем от автомобильной фары, так что столик и чтец оказались как бы внутри светового конуса, за пределами которого смутно рисовались в полумраке фигуры слушателей. Вышло что-то вроде маленького театра одного актера.

Сэм начал с эпитафии:

Смятенье наших предписаний,  
Из утра в утро мятье воль,  
Как прилагать железный камень  
На возрастающую боль.

Затем прокашлялся, отпил глоток вина из горлышка бу-

тылки, заправил за ухо прядь волос и стал читать дальше.

*Рассказ Сэма, написанный в гостиничном номере.*

## БУМАЖНЫЙ ЗАНАВЕС

Знакомых он провожал до метро. Перед уходом аккуратно открывал форточку. Табачный дым не успевал выветриться до его возвращения, но смешивался с запахом прелых листьев, дождя и гари. Гарью несло из окон дома напротив; он стоял на ремонте, а во внутреннем дворе жгли паркет и дранку. Он садился в глубокое кожаное кресло у окна и смотрел на сломанный дом. Шел дождь, было темно, и в оконных проемах нижних этажей дрожали оранжевые блики. Где-то к четвертому этажу проемы темнели, и дом сливался с густо-чернильным небом. После долгих утомительных разговоров ему хотелось спать, но он не ложился, а, наоборот, заваривал крепкий чай, закуривал, включал маленькую лампочку и не глядя брал со стола книгу. Свои книги он узнавал уже на ощупь: прохладный гладкий переплет с глубоким тиснением – восьмой том Чехова из приложения к «Ниве»; грубая, словно пыльная, бумага – четвертая книга «Войны и мира»; ребристый коленкор – «Русские поэты конца XVIII – начала XIX века». Открывал наугад, читал с середины страницы или ниже: «Он боится внешнего мира, суровой социальной действительности, и он замыкается в себя, в свои настроения, и любит ими даже тогда, когда они печальны».

«Странно, – думал он, – это о Карамзине, написавшем “Историю Государства Российского”». Смотрел выше – «Ах, это об основном характере поэзии... Что ж, насчет поэзии, может быть, и верно, хотя...» Но дальше обычно не додумывал. И вдруг ловил себя на том, что не читает уже, а просто держит на коленях раскрытую книгу. Зачем? Когда заметил это за собой, вспомнил, что так иногда гадают – открывают наугад, тыкают пальцем в страницу и читают что-нибудь вроде «Федор посмотрел на свет и прищу...» А потом меланхолически начинают размышлять, что бы это могло значить: дорогу, казенный дом, прибавку к жалованью или, может, жена сбежит? Или наоборот, он сбежит, а жена останется... Но тогда не будет прибавки к жалованью...

Он засыпал и начинал думать чепуху. Захлопывал русских поэтов, раздевался и валился на скрипучие растянутые пружины.

На другой вечер открывал книжный шкаф и в раздумье стоял перед разноцветными корешками: Островский «Пьесы», Гегель «Философия религии», Гаршин «Избранные рассказы».

Выбирал, садился в кресло, прочитывал две-три страницы и снова смотрел в окно, а книга отправлялась на стол. Так постепенно на столе собиралась вся библиотека: «Происхождение видов», «Пьесы» Писемского, «Обломов» и прочее.

В одно прекрасное утро он замечал, что в комнате непорядок. Иногда даже присвистывал: «Ну и бардак!» Но не отча-

ивался, а тут же вставал, умывался и, засучив рукава и штаны, начинал укладывать книги обратно в шкаф. Потом мыл пол, вытирал пыль, относил белье в прачечную и опять забывался на месяц-полтора.

Каждый вечер он вяло ждал телефонных звонков. Если долго не звонили, не мог понять, что делать – радоваться или огорчаться. Но звонили часто, почти каждый вечер.

– Алло! Алька, это ты? Куда ты пропал, тебя месяц не видно было нигде...

Он прерывал:

– Петя, милый, а где бы ты хотел меня увидеть? В театре? В пивной? В парикмахерской? А?.. Нет, я шучу... Как твои дела?

– Да ты знаешь, старик, я, собственно, тут недалеко, так что, может, лучше зайду, мы потолкуем?

«О чем нам толковать?» – думал он и рассеянно говорил в трубку:

– Да-да, разумеется, о чем разговор...

– Я не понимаю, ты свободен сегодня?

– Петя, как тебе не стыдно? Тебе ли меня не знать?

В таком духе они беседовали еще минут десять, и оба старались выбрать момент, когда удобнее будет повесить трубку. Но момента все не было, и они всё мычали, многозначительно говорили в трубку «да, да», «помню, помню» и прочее.

Алька вдруг обрывал резко и неожиданно: «Жду, ставлю

чайник». И лицо словно застывало.

Он шел в кухню, гремел кастрюлями, включал газ. Раковина забита была грязной посудой, и чайник приходилось проносить над ней осторожно, к самому крану. Наливал до крышки, ставил на огонь. Воду не выключал. Двумя пальцами брал из-под струи мокрую холодную чашку. Мыл ее. Потом мыл еще одну. Ставил на стол. Доставал из буфета хлеб, масло, сахар. Выливал спитой чай и вытряхивал в ведро разбухшую заварку. Ополаскивал чайник.

Брал с подоконника «Одиссею». «Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце. Первым бросаюсь вперед...»

И в это время звенел звонок.

Захлопывал «Одиссею», шел к двери.

Петя, большой, шумный, в тоненьких круглых очках, возникал в прихожей, как Дед Мороз на елке. Он подпрыгивал, шутил, смеялся, чему-то радовался, и все это между делом: раздеванием, поисками тапочек, причесыванием.

– Да, брат, такие наши дела... Ты не обижайся, я тоже месяц не звонил, да все никак – то премьера, то женщина, то пьянка...

– У вас премьера была?

Петя сникал.

– Ты знаешь, старик, я ожидал больше, да, и гораздо... Столько разговоров, такие репетиции, а смотреть по сути не на что. Причем я все понимаю: ну встала, ну пошла, и конечно, это все кому-то нужно, но вопрос в том – кому? Когда

в течение трех часов я вижу, как мальчики и девочки при-  
творяются убийцами, сутенерами, самоубийцами и еще черт  
знает чем, я начинаю чувствовать себя полным идиотом. Я  
смотрю на актера и спрашиваю себя: если так спокойно че-  
ловек может раскаяться в убийстве младенца, так, может, в  
этом ничего страшного-то и нет, а так только, буква, уложе-  
ние о наказаниях... И все смотрят на него, а он на всех, и при  
этом так красиво стоит на коленях и таким поставленным  
голосом кается, что как тут не простить?! И еще аплодируют  
при этом, жидковато, правда, но аплодируют! И с премьерой  
поздравляют – браво, цель театра достигнута! Я помню, два  
года назад отец в командировку уехал, а я по доверенности  
его зарплату получил и в тот же вечер проиграл ее в карты,  
до копейки. Всю ночь потом сидел на вокзале и письмо со-  
чинял. Бумаги извел чертову уйму! А под утро уже записку  
нацарапал: «Деньги твои проиграл. Еду на Север. Пока не  
заработаю, можешь не считать меня своим сыном». И пошел  
домой с запиской этой, вещи укладывать. Открываю дверь, а  
навстречу – отец. Приехал ночным поездом. И у меня сразу  
все поплыло перед глазами, поехало куда-то... Очнулся на  
диване. Отец стоит у окна, вертит в руках бумажку какую-то.  
Я с ходу не сообразил, что это записка моя. А когда сообра-  
зил, то прямо так, лежа на диване, все ему и выдал. Так он у  
меня по десять раз каждое слово переспрашивал. А эти де-  
тей душат – и всё как с гуся...

Проходили на кухню. Чайник кипел. Крышка на нем под-

прыгивала и звякала, словно пьяный телеграфист выходил в эфир.

– Ты уехал на север?

– Я в проводники ушел.

Петя любил чай.

– О, чай!.. Это прекрасно! На улице такая мерзость – снег, дождь, хоть «дворники» на очки заказывай! У вас перед домом фонарь погас, лужа натекла. Хоть бы зима пришла, что ли...

– Куда ж она денется?

Петины губы растягивались в улыбку.

– Помню, помню, – говорил он, – только начало забыл.

Алька «парил» чай.

– Идет надзиратель по тюрьме, – говорил он, не оборачиваясь, – делает переключку...

– А, – подхватывал Петя, – ключами звенит... Иванов? Я! Сидоров? – и постукивал чайной ложечкой по столу.

По кухне распространялся запах свежего чая. Алка разливал его по чашкам. Петя косил глаза на медно-красную струйку и кивал головой.

– Так, так, – приговаривал он, – нет, еще чуть-чуть, еще, ага, нормально, еще грамулечку, хватит, – и облегченно вздыхал.

Они пили чай и курили папиросы. Говорили, молчать было неловко.

– Ты в премьерe участвовал? – спрашивал Алька.

– Нет, – отвечал Петя, выпуская дым, – только смотрел.

Мысль о премьерe была неприятна ему. Да, он не участвовал в премьерe выпускного спектакля. Он пытался представить этот факт результатом интриг – не сходилосъ. Тогда впадал в откровенность с самим собой. «Я никуда не годный актер. Насквозь фальшивый, с дурным голосом и вихляющей походкой. Но ведь оттого, что другие на четверть мизинца лучше меня, никому не становится легче. И в то же время эти четверть мизинца отделяют их от безработицы. А я? Куда мне деваться? Сшибать халтуры? Драмкружок? Массовки? Или ехать куда-нибудь в Тьмутаракань, напиваться в привокзальных буфетах и орать: мы – актеры? А? Куда? Боже мой, кому все это нужно?!»

Когда эти вопросы уже совсем не давали ему покоя, он ехал к Альке. Визиты выходили, правда, случайные, «географические», как он их называл, но вопрос стоял перед ним постоянно, как восклицательный знак перед чеховским чиновником. Все свои рассуждения он оставлял при себе, а у Альки спрашивал всегда одно.

– Алька, – говорил он, поблескивая очками, – кем ты работаешь?

– Ночным сторожем, – удивленно отвечал Алька, – и ты прекрасно об этом знаешь.

– А какое у тебя образование? – упрямо продолжал Петя.

– Высшее техническое, – хмурился Алька.

– Как ты не понимаешь, – возмущался Петя, – что это образование, этот диплом нам – как чужой орден на мелком служащем.

«Да, – думал Алька, – Петин актерский темперамент находит выход в домашних диспутах». Он делал серьезное лицо и говорил: «Ну-ну, я слушаю». Мысль у Пети всегда была одна, только сравнения разные.

К его лицу словно приклеена была язвительная усмешка, но тоненькие морщинки, разбежавшиеся паутиной от уголков глаз, говорили о бессонных ночах, размышлениях и фантастической незащитности. Алька говорил мало, больше смотрел по сторонам, попивал чай и вдруг тоже начинал усмехаться.

– Да, – говорил он, – какой-то скверный анекдот получается. Я вот сменил массу занятий, но ничем не увлекался серьезно. Всё как мозаика. Недавно письмишко сестренке младшей написал, она школу только закончила, поступила в педучилище. Вот, говорю, вспоминаю свою жизнь – здесь кусочек, там кусочек. Вроде бы по отдельности все и неплохо, а начинаешь складывать – не получается.

– Что не получается?

– Жизни не получается.

– А как ты представляешь себе жизнь?

– Не прикидывайся мальчиком, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. И вообще, мы толчем воду в ступе уже кото-

рый год! Кстати, ты не помнишь, сколько лет мы знакомы?

– Года два.

– Два года! А вспомни, изменилось ли за это время хоть что-нибудь? Совершил ли хоть один из нас какой-нибудь поступок, чтобы вырваться из этого колеса?

Они говорили то длинными, то короткими фразами, терли, жевали их, пытаясь разглядеть в словах и формулах ответ на вопрос «зачем?».

Зачем школа? Зачем институт? Вспомнил старый каверзный вопрос из школьных КВН: «Зачем вода в стакане?» – и ответ: за стеклом.

В последнее время он часто вспоминал школу. На протяжении десяти лет им твердили: школа – самое прекрасное время в жизни. Цените его. Они не очень верили и к тому же не имели ни малейшего понятия о том, что такое время и как его ценить. А теперь Альке было двадцать пять лет, позади армия, институт, а что впереди?

Когда после института ему предложили завод, он отказался. Он хотел стать актером, но ничего не получалось. Тогда он стал читать книги. Их было много, и все они были прекрасны. «Там, там нас хижина простая ожидает», – читал Алька и успокаивался. Он работал ночным сторожем, а днем спал или бродил по городу. Иногда заглядывал в кафе и выпивал чашечку кофе. Потом сидел в садике и курил. За год такого бродяжничества он настолько привык к переменам погоды, что перестал их замечать. Он завел дневник и над-

писал его: Impression. Это был дневник впечатлений; каждый день что-то оставлял в душе. А в дневнике появлялись маленькие четверостишия.

*Четырнадцатое марта.*

Мечусь в крошечной тишине,  
Сжав голову в тиски ладоней,  
А дни спуют, как в сердца зоне  
Шальные пули на войне.

*Двадцатое марта.*

Когда я в хаосе витаю,  
Отыскивая мой постой,  
Я все неистово сметаю  
Перед разящей красотой.

*Семнадцатое апреля.*

Один в железной тишине,  
Снуют по снегу силуэты,  
И жизнь без свиты и кареты  
Ползет неслышно по стене.

Иногда сталкивался в городе с бывшими однокурсниками. «Ну как ты?» – спрашивал на бегу товарищ. «Живу», – отвечал Алька. И расходились.

Пробовал рисовать. Завалил комнату ватманом, неделю ломал об него хрупкие карандаши, потом выбросил рисунки, вымыл руки, собрал чистую бумагу и уложил ее на шкаф,

пусть полежит.

Вечером шел на работу. Получал связку ключей, распивался, запирали кладовые и отпраивлялся в Красный уголок. Там стоял бильярд с побитыми бортами и рванными сетками. Кий был с трещиной, шары колотые. Ставил «пирамидку», разбивал и ходил вокруг, выбирая самый трудный шар. Находил, прицеливался. Если загонял, на душе становилось уютно. Если мазал, настроение портилось. Потом приходил Петя с бутылкой вина. Они пили, играли и молчали. Петя молчал, потому что хотел еще во что-то верить; Алька молчал, потому что не верил уже ни во что. А просто болтать они не хотели. Разве что по телефону, голосом легче лгать. Часы на ратуше били полночь, и Петя уходил. Алька ополаскивал лицо, наливал воду в бутылку из-под вина и ложился спать. Гладкая деревянная скамья, тусклая контрольная лампочка, легкий сквозняк больших помещений.

Как-то проснулся среди ночи и вспомнил: «У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса...» – и так далее, до бесконечности: склад – кафе – студия (он еще занимался тогда в студии) – склад... А жить-то когда? Уже двадцать пять лет словно кто-то на бухгалтерских счетах отщелкал. В студии говорили: надо работать, и мы станем... Но не договаривали. «Старики» не верили, а молодежь боялась – не авторитетна. Зато верила. Он тоже сначала верил. С уважением прислушивался к спорам «стариков»: Шекспир – это, конечно, не Островский, но зато Островский... Или наоборот:

ну, Островский, конечно, не Шекспир, но зато Шекспир...

В один из вечеров в студию зашел Петька. Ему обрадовались. Он широко здоровался, целовал ручки и щечки дамам, а потом тихо уселся в углу. Послушал с полчасика. «Ну, Гоголь, конечно, это не Лермонтов...» Потом встал и осторожно ушел, не прощаясь.

С Алькой встретились случайно; Алька шел на работу, а Петя стоял у телефона-автомата и курил.

– Я сейчас звякну, подождешь?

Говорил он долго, до Альки долетали обрывки фраз: нет, не звонил... Принесу во вторник... Я тебя ждал... Какая такая подруга?..

Петя повесил трубку, вышел, тряхнул плечами и удивленно сказал: свободен. При этом склонил голову набок, посмотрел на собственные ботинки шутовским петушиным взглядом.

– Пойдем выпьем, – предложил он, не глядя на Альку.

– Я не могу, – ответил тот, – мне на работу надо.

– Где ты работаешь?

– В типографии, сторожем...

– У тебя на работе можно?

Алька подумал и сказал:

– Можно.

В первый вечер они разговаривали захлеб.

– Ты знаешь, – говорил Алька хрипловатым от вина и вол-

нения голосом, – мне очень нравится студия. Это так не похоже на наш институт... А главное – люди. Добираться до причин человеческих поступков. Почему Гамлет убил Полония за шторой, думая, что это король? А штору так и не отдернул! Боялся? Хотел случайного убийства? И Гильденстерна с Розенкранцем не своими руками убил. Так, может, он просто трус? Или смысл всей мести состоит для него в самой интриге? И потом смотри: если Гамлету сорок, то Гертруде?.. Под шестьдесят, так? Старуха, климакс: белила, румяна, пудра в три слоя поверх морщин, как штукатурка, кусками, в мелких катышках на шее, возле ушей. А муж все в походах, в походах: норвежец, поляки... А тут под боком Клавдий: изнеженный, пресыщенный, развратный, дряхлеющий уже от разврата... Не сошлись, нет, а именно снюхались – как собаки, как кошки, – и пошел разврат, дряблый, старческий и притом совершенно открытый, наглый, под гром пушек, под фанфары – эдакий бешеный пьяный корабль, Сатирикон... И никуда не деться, не скрыться, они везде: за коврами, под лестницей, за балюстрадой... Быть – не быть?.. Риторика, да, но на грани физиологии, срыва, а он и есть на грани, у нас бы такого в дурдом закатали. Не упрекает. Нет, поражается: как вы можете так жить? Неужели не противно? Однако живут... Хотя, может быть, все это и бред, то, что я сейчас говорю, чушь собачья...

Он взглянул на Петю, словно ожидая от него подтверждения последним своим словам.

– Неплохо, неплохо, – медленно сказал он, глядя на Альку немигающим взглядом, – есть в этих вопросах то, что называют сермяжной правдой.

– Ты находишь? – оживился Алька. – Но это все только начало, а мы будем работать дальше, всей студией...

– Всей студией, – повторил Петя, и горькая ирония прозвучала в его голосе.

– Ты в чем-то сомневаешься, – насторожился Алька. – Да, всей студией! Неужели ты не понимаешь, что один человек ничего не может сделать?

– В этом, именно в этом вся наша беда, – сказал Петя, – что никто из нас в одиночку ничего собой не представляет.

– Но в этом надо разобраться гораздо глубже, – возразил Алька.

– Глубже не надо, там песок, – сказал Петя, меланхолично обгрызая ноготь на большом пальце.

– Что ты хочешь этим сказать?

Петя ничего не ответил, а переспрашивать Алька не стал. Перед ним сидел человек в потертых черных брюках, клетчатой рубашке, полосатой шерстяной безрукавке. Длинные, светлые, чуть выющиеся волосы. Вздернутый нос. Очки как мыльные пузыри. Он знал что-то такое, о чем даже не догадывался Алька. Знал, но молчал. Он снял очки, подышал на них, достал мятый носовой платок. Протирал медленно, смотрел на свет, снова протирал. Потом надел их и предложил сыграть партию. Алька согласился. За бильярдом Пе-

тя болтал, рассказывал анекдоты. Перед каждым ударом теркий мелом, приговаривал: «А мы его бабочкой!» Но партию не доиграл. Посмотрел вдруг на часы, заторопился. На ходу записал Алькин телефон, сбежал по лестнице и хлопнул дверь. Алька дулетом свел партию вничью и пошел проверять замки.

Петя позвонил через месяц.

– Послушай, старик, – быстро заговорил он, – если ты свободен, приходи вечером в театр! У нас курсовик, премьера... Билет не нужен. На контроле скажешь: к Волынскому! Кто Волынский? Это я, Петр Волынский, третий курс. После спектакля зайди в гримерку.

Алька прижал рычажок, потом отпустил его. Позвонил в студию и сказал, что болен. На вахте его пропустили.

Давали «Голого короля». Петя играл шута, оплывшего, с сизым от пьянства носом. Он мрачно шлялся за королем, путался у него в ногах, спотыкался и выдыхал: ну и кровяща! Король взглядывал на шута рачьими глазами и беззвучно смеялся. Спектакль вышел тихий и жуткий. Мальчик с ужасом кричал: «Мама, а король-то голый!» Светопреставление! Апокалипсис!

Занавес опустился. Зрители разошлись молча, без единого хлопка.

Алька прошел в гримерку. Петя сидел перед зеркалом, а вокруг валялись жирные разноцветные клочья ваты. Алька

стоял, прислонившись к дверному косяку. В зеркале он видел Петино лицо. После спектакля оно выглядело похudevшим, выпирали скулы, толстым жгутом вспухла на лбу вена, глаза были огромные и черные, словно состояли из одних зрачков.

Потом они гуляли по городу.

– Понимаешь, старик, – говорил Петя, – они все видят. И король знает, что он голый, но идет, потому что нет другого способа укрепить власть. Он выходит так, словно перед ним не люди. И народ в ужасе падает ниц. И шут не смешон, жалок. Он стонет, падает, говорит глупости, но он не глуп. Он подцензурен. Ни единого лишнего слова. Репертуар утвержден, и его величество руку приложил...

Это был другой театр, которого Алька не знал. Он знал уже, что «Некрасов – это не Толстой, но зато Горький...» «Ну и что, – думал он, – Иванов не Сидоров, но зато Петров...»

Через два дня афишу «Голого короля» сняли.

Петя позвонил через полгода.

– Алька, это ты? Я тут непотребно долго задержался в одном сказочно прекрасном месте! Какое такое место? Место самое обычное, но общество, общество... Будь у меня деньги, купил бы массу прекрасных книг, но, увы... Я, собственно, вот к чему все это: ты сегодня один? Я спрашиваю, ты один ночуешь? Все может быть... К тебе приехать можно?

Хорошо, через час буду.

Алька разобрал раскладушку, поставил чайник и стал ждать. Два дня назад он пришел в студию и сказал, что уходит. Он давно собирался это сделать. Верить перестал. Красивые слова: пластика, акробатика, сценречь, актерское мастерство – но что, что под ними? Он, словно мельница, размахивал руками, выкрикивал красивые слова, смысл которых не успевал доходить до него, и чувствовал, что тупеет. С каждым днем, часом, минутой. Вспоминал первый разговор с Петькой и его фразу: глубже не надо, там песок. «Петя прав, – додумывал он про себя, – теперь я понимаю, что из этих куцых, выморочных мировоззрений вырастает только снобизм. «Искусство, мы – любители, мы не профессионалы...» Так ведь это же плохо, вы же мещане, приживалы при театре, а стоит стать приживалом где-нибудь в одном месте, как это пронизывает все существо человека. Ведь он не колония мшанок, а целый организм. Что такое действие по Станиславскому? Волевой, целенаправленный, психофизический акт. А если он не волевой, не целенаправленный, то это уже не действие, господа. Это – бездействие. А мне надоело бездействовать. Я не хочу гнить заживо. Не хочу дурно играть Чехова для пенсионеров из восемнадцатой жилконторы. Я уже не приглашаю на спектакли знакомых, мне стыдно. Стыдно за ту халтуру, которую мы выпускаем. Вы говорите: у нас условия. Чушь собачья! Во-первых, им дела нет до наших условий, а во-вторых, нельзя на рояле тесто

месить...

Все это он сказал тогда, два дня назад. Последние фразы выкрикивал уже у дверей. И ушел, не выслушав возражений, вопросов.

Алька не заметил, как прошло время. Когда пришел Петя, чайник выкипел почти наполовину. Эбонитовая ручка накалилась, пришлось оборачивать ее полотенцем...

– Тебе покрепче?

– Разумеется.

– Уснешь?

– А куда же я денусь?

– Знаешь, я из студии ушел...

– Я знал, что ты уйдешь.

– Еще тогда, в типографии?

– Да.

– Почему же ты не сказал, не предупредил?

– Зачем? Вижу, мужик неглупый, сам дотолкается. А если дурак, там ему самое место.

– Ты считаешь, что студия – место для идиотов?

– Не совсем так, но что-то вроде этого.

– Не понимаю.

– Сейчас объясню. Все дело в том, как понимать слово «дурак». Это не то, что он не может что-то сделать, придумать, нет... По-моему, человек становится дураком, когда начинает давать поблажки собственной душе. А самодеятельность – вслушайся в само слово «са-мо-де-я-тель-

ность» – в конечном счете ни к чему не обязывает. В ней только бледные отпечатки гражданственности, философии, как десятые экземпляры с «Ундервуда». И дело не в статусе, а в простой нужности, необходимости. И потом, эта безнравственная совершенно формула: занимайся театром в свободное от основной работы время. В свободное время мы привыкли есть, спать, совершать прочие физиологические отправления. Но ведь театр – это не отправление.

– Сегодня нет репетиции, и мне как-то не по себе.

– А ты попробуй месяц в баню не ходить.

– Я все понял, давай чай пить.

Утром Алька нашел на столе записку: «Ушел по-английски. Очень спешил. Позвоню. Петруччо».

Петька не звонил год, словно в воду канул. Алька жил в центре города, и к нему каждый вечер кто-нибудь заглядывал. Выпить чашечку кофе, бутылку вина, поболтать, просто погреться. Заходили бывшие однокурсники, бывшие студийцы, бывшие знакомые, друзья. Вечерние беседы превращались в утомительную вязкую необходимость, в полусонный бред наяву. Алька привык к ним, как привыкают к вину или наркотикам. Начинали с разговоров о погоде.

– Да, похолодало... – или: – Чтой-то нынче хляби разверзлись!.. – и переход: – Ну как ты тут, что поделываешь?

Алька закладывал карандашом книгу и отвечал: да так,

помаленьку...

И уходил на кухню ставить чайник.

Как-то раз пришла в голову мысль: «А как, собственно, я живу? Что делаю? Откуда берется это проклятое “помаленьку”? Работаю? Кем? Ночным сторожем? Будь ты умнее, ведь это работа для пенсионеров, а тебе двадцать пять лет. Но это дает время, много свободного времени. А зачем тебе свободное время? Читать? А что дают тебе книги? В них надо искать ответы на вопросы, а не сами вопросы. А какие у тебя могут быть вопросы, если ты не знаешь людей, если ты их боишься? Нет-нет, не возмущайся, ты их действительно боишься. Это не совсем обычный страх, это чувство похоже на чувство твоего отца, бросившего семью. Ты помнишь, как он приходил к матери и, сцепив жесткие ладони, подолгу сидел в кресле? А ты все хотел узнать, кто это такой? А когда узнал, все хотел спросить: ты где был все это время? Почему приходил так редко и ненадолго, что мы даже не успевали познакомиться?...»

Алька не спросил отца ни о чем; отец и так все понимал. А сейчас где-то в глубине души он сам боялся того, что когда-нибудь его спросят: мил человек, а кто вы, собственно, такой? Где вы были, пока мы давились в автобусах, сидели по восемь часов в душных конторах, толкались в очередях, считали копейки?.. Да, мы жили плохо, но мы были вместе и этим помогали друг другу. А чем вы помогали нам? Служи-

ли идеи? Но какой идее? Кому нужны ваши маленькие домашние мысли? Вы хотели найти ответы на все вопросы, мучившие человечество? А помните песенку: кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб! О, джинны, вы ищите там, где не прятали!.. А люди давно поняли, что идеи доходят через руки, через закрученные гайки, через сырые квартиры с обвалившимися потолками... Что? Ты что-то сказал? Ах, ты сказал: я думал. А мы что, груши околачивали? Мы тоже думали, но при этом не жалели себя. Ты нажил инфаркт от водки и сидячей жизни, а мы от беготни и нервотрепки, вот так-то, мил человек!

Эти рассуждения заводили Альку в тупик, и он терялся. Бывшие друзья рассказывали ему о работе, о своих семьях, и это была другая жизнь, с горестями, радостями, поражениями и победами. Это была тихая ежедневная борьба. «А с кем борешься ты? – вылезал откуда-то коварный вопрос. – С самим собой? Чтобы вставать в семь утра, а не в двенадцать? А у них этой проблемы нет. Так в чем же дело? Хочешь, скажу? Вся разница в том, что они кому-то нужны, а ты – нет, вот и все. Даже со всеми своими распрекрасными идеями. Ты просыпаешься рано, но потом часа три валяешься в постели в полудремотном состоянии. Теперь ты понял, отчего это происходит? Ты говоришь: они – рабы системы, и не ведают, что творят. Но какой системы? Что ты знаешь о ней, сидя здесь, в четырех стенах? Чтобы понять систему, надо

стать ее рабом, а ты боишься этого, трус! Но почему, почему трус? Что за неизбывный страх живет во мне?..»

Петька говорил: «Знаешь, я чувствую себя как человек, вышедший из подземного лабиринта. Позади блуждание в крошечной тьме, скользкие мокрые стены, фитиль, догорающий на залитой воском ладони... И вдруг впереди свет, и я бегу к нему, выбегаю – и вижу, что вокруг меня бесконечное поле, ровное, как небо, а прямо от моих ног начинается пыльная желтая дорога. Она вся затоптана человеческими ногами, но я не могу найти даже двух одинаковых следов. И эта дорога уходит вдаль, пропадает, и стоят вдоль нее полосатые верстовые столбы. И не через версту, а как попало, словно люди никак не могли договориться, где начинается дорога... Прекрасно! В таком случае мне еще только выдали мой столб, и я таскаюсь с этим полосатым бревном на шее и никак не могу найти место, с которого начинается моя дорога. А столб с каждым часом все тяжелее, и он гнет меня к земле, и глаза мои слипаются от пота, а сзади кричат: “Давай! Давай! Чего он ждет?” И правда, чего я жду, что я ищу в этом поле, на этой горячей желтой дороге?..»

- Алло!.. Алексея можно к телефону?
- Его нет дома.
- А с кем я говорю?
- Откуда я знаю?

Сырой туманный вечер в конце ноября. В окне первого этажа большого старого дома загорается маленькая настольная лампочка под синим абажуром. Сутулый молодой человек в пестром махровом халате садится в кресло и берет со стола книгу. Он открывает ее и перелистывает несколько страниц. Некоторое время сидит неподвижно, затем поднимает голову и смотрит в окно. Он видит свое отражение в узком черном стекле – длинное бледное лицо, наполовину высвеченное лампочкой, а дальше, за спиной, бездонная, бесконечная тьма, где горят обломки разрушенного дома. Он протягивает руку и берет со стола дневник с надписью Impression.

*Двадцать девятое ноября.*

Красоте идеальной воздавая овации,  
Нивелируем будни, как зашлепанный снег.  
Я себя начинаю немного чуждаться,  
И корит меня в зеркале чужой человек.

Зыбин не помнил, что потом было с этим рассказом: отнес его Ворон, не отнес? Напечатали? Нет? Кажется, он тогда опять «сорвался в цикл», как мотоциклист в цирке, который носится внутри верхней половины шара и вдруг застывает передним колесом за нижнюю кромку и летит вниз по касательной, добавляя к собственно скорости ускорение свободного падения. А внизу опилки, залитые конской мочой... Нет, вспомнил, не напечатали, и «безвременно погиб-

ший» с добавлением «трагически» не сработало. Так и вернулась папка, и долго еще пылилась на полке поверх книжных корешков среди старых поздравительных открыток, фотографий с заломленными углами.

Как-то жена не пришла ночевать, даже не позвонила, не наплела чего-нибудь утешительного, а просто не пришла, и Зыбин, через каждые полчаса набиравший номер отдела происшествий – жена ночевать не пришла? Тридцать девять, на вид старше, бежевый плащ с капюшоном, сильная проседь? Сейчас проверим... Нет, таких не поступало... – под утро уже в полуобмороке, как-то само собой, нечаянно, вкладывая пальцы в отверстия диска, как в кастет, набрал номер Клим.

– Вы позвонили в квартиру Игоря Борисовича Климашевского, – произнес из дырочек наушника знакомый, но какой-то неживой голос, – но Игорь Борисович в настоящий момент находится в Торонто, так что если вы хотите оставить ему какую-то информацию, то ее готов принять от вас электронный секретарь. Если же ваше дело не терпит, скажем, до середины февраля, а я полагаю, что раньше вряд ли обернусь, то можете позвонить мне туда, в Торонто... – далее, после небольшой паузы, достаточной, по мысли режиссера, для того, чтобы собеседник взял ручку и приготовился писать на глянцевом поле календаря-ежемесячника, прозвучал длинный ряд, казалось бы, совершенно обычных, но

в то же время каких-то таинственных цифр. Зыбин, ухом прижимая трубку к плечу, машинально вписал их обглоданной ручкой в узкую полоску чистой бумаги между газетными столбцами. Писал и думал: а вдруг Клима разыгрывает этот телефонный спектакль просто так, от ночной тоски? Но тут номер кончился, и голос Климана опять сделался жесткий, как бы застегнутый и затянутый узлом галстука: – И попросить мистера Климашевского из две тысячи третьего номера! А теперь говорите...

– Я так долго слушал всю эту цифирь, – сказал Зыбин углом рта, все еще держа ухом трубку, – что даже и забыл, что хотел сказать... Но, знаешь, когда за ночь раз восемь наберешь номер отдела происшествий, а это что-то, я так полагаю, между моргом и реанимацией, бюрократический предбанничек, нельзя же сразу на полку к остальным жмурикам, надо все осмотреть, все проверить: документы, следы насилия или изнасилования – кому как повезет... А если их нет, этих следов? Если все по обоюдному? А тогда это, извините, не по нашей части: сам, выходит, чего-то недоглядел... Они мне так по телефону, естественно, не говорили, не их это дело, но я-то сам понимаю, как все обстоит на самом деле, и даже примерно могу представить, где она сейчас, моя ненаглядная... Ненаглядная, кроме шуток, всё как в первый день – восемнадцатый год пошел. И это несмотря ни на что, даже на то, что я знаю не только, где она может быть сейчас, но и с кем она там может быть. Знаю, но не скажу и туда зво-

нить не буду ни за что, пусть лучше все остается как есть, называй это ханжеством, трусостью, лицемерием – как хочешь, мне уже все равно... А его я один раз видел; из больнички вышел раньше срока, иду такой, как с картины «Не ждали», к дому подхожу, а они вдвоем навстречу из подворотни, хорошо, далеко еще было, я за наш пивной ларек успел укрыться и уже через стеклянный угол видел, как он пену с ее кружки сдувал: пух – и клочья по ветру!.. Слышал один раз, близко, за стенкой, они с Вороном ночью пришли к моей половине коньяк пить, халтуру на рынке сделали, а рынок недалеко, и они к нам, куда же еще?.. Я тогда не на стационаре был, только таблеточки глотал дома и спал как отрубленный по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки... Спал-спал, а тут проснулся в темноте, слышу, гудят за стенкой, как они кого-то там с Вороном то ли послали, то ли побили; они ведь с ним кореша, оба за город выступали, оба в полусреднем, только этот на кандидате остановился, а Ворон до мастера дошел, хоть иногда и жалеет, говорит, бьют там больно, в мастерах-то... И вот они бубнят, Лилька тоже иногда встречается, подкалывает, а я лежу, слушаю, а про себя думаю: вот встану сейчас, пройду тихо в сортир, где у меня кровельный молоток за унитазом стоит, возьму его, выйду на кухню и как трахну по темени! Против лома нет приема... И ведь ничего мне за это не будет, разве что в больничке чуть подольше подержат – маниакальная фаза, не уследили, ешкин кот! – да мне-то не привыкать. Зато каков сюжет, а? Я тебе даже

вещдок заранее надиктовываю на тот случай, если я в самом деле решусь; мне это все иногда так отчетливо снится – с мозгами на стенке, с кровичей, – что я в поту просыпаюсь и даже чувствую в руке такую тяжесть, как будто и в самом деле молоток держал – мышцы до сих пор помнят, хотя уже двенадцатый год пошел, как я на крышу не выходил... Извини, я тебе всю кассету, наверное, забил своими переживаниями, но что делать, понесло... Мог бы это как-то иначе выразить, не болтал бы столько, а то тут тебе и вещдок, и мотив – и при этом если до дела дойдет, все на маниакальную фазу спишут, не такое списывали, весь ГУЛАГ на нее списали, то ли двадцать миллионов, то ли тридцать – кто считал? А все потому, что маньяк, параноик, больной человек... Слухи-то давно гуляли, еще при Вэвэше, это мой старший брат, ты его не застал, он погиб, ехал в троллейбусе, и его концом трубы убило с трубовоза, когда тот поворачивал под виадук... Так вот: Вэвэша страшно ругался, когда такое слышал. Раз, говорил, маньяк, больной человек, так это что же выходит: несчастный, да? Такую страну, такой народ в крови потопил, а его за это не только простить, но еще чуть ли и не пожалеть надо: несчастный, дескать, умишком тронутый, какой с него, бедного, спрос? Тебе бы с Вэвэшей поговорить, но увы и ах... А в Торонто я тебе звонить не буду, нет у меня такого к тебе дела, которое не могло бы подождать до середины февраля. Подумаешь, жена ночевать не пришла, придет еще, куда она, сука, денется? Еще не хватало ночного портье из-за

такой ерунды беспокоить, мало ему своих проблем при отеле-мотеле... Ну вот, кажется, и все... Покойся, милый прах, до радостного утра!

Тут в наушнике раздался сухой птичий щелчок, и Зыбин понял, что в автоответчике кончилась кассета. Он послушал короткие гудки, посмотрел на ряд цифр, записанных между газетными столбцами, и, мысленно обзрев пустую Климову квартирку – обшарпанный буфет, письменный стол, продавленный диван, акваланг, гидрокостюм, коллекция ножей для прикалывания дичи, «запаски» для громоздкого, как саквояж, «вольво» – пикапа, составленные в стопку в бетонной лоджии, – медленно положил плачущую трубку на никелированные шишечки аппарата.

Но в микроскопической паузе перед щелчком ему как будто послышалось в наушнике как бы легкое придыхание и вроде даже сдавленный короткий смешок: хо-хо! «А если даже и так? – подумал он. – Клим дома, а все эти Торонто, Канны, Мадрид, даже Ташкент – блеф?» Но зачем? Мания величия? Бред отношения? Как все же скуден набор этих клише... Или он уже настолько подавлен сознанием собственного ничтожества – после диплома ни одной картины не снял, всё только планы и разговоры, – что должен каждую минуту, секунду, даже среди ночи непрерывно представляться перед всеми, и в первую очередь перед самим собой, каким-то необыкновенным типом, причастным к высшим олимпийским сферам, где в зарослях золотых пальмовых ветвей при-

таились опять же золотые львы, за которыми охотятся напряженные золотые «Оскары»? Или это так, шутка вроде той, новогодней, когда он нагнал в свою бетонную голубятню целый табун каких-то тусующихся при Доме кино истеричек, а сам куда-то исчез, и вся полужнакомая, а по большей части и вовсе незнакомая компания стала по отвесному скату крыши Старого года съезжать в бездонный провал Нового, и до края оставалось уже совсем немного, но здесь-то как раз и был скрыт подвох, так как ни радио, ни ТВ у Клима тогда еще не было, и он как раз и сбежал из дому, чтобы отыскать где-нибудь в еще пустом на три четверти доме транзисторный приемник, словно оттого, что они выпьют шампанское чуть раньше или позже, чем весь мир перескочит в новую клетку времени, что-то изменится... И пока они все накрывали сундук посреди комнаты, расплескивали по бокалам дешевое сухое вино, Клим бегал по сырым темным пролетам и вдруг ворвался из лоджии, выскочив из люка, как рождественский черт, кинулся в угол, чем-то шелкнул, и они услышали голос диктора, объявляющий начало сигналов точного времени. И сразу вся компания разразилась визгом, захлопали пробки, толстые пенные струи стали с одышливым шипением оплодотворять подставленные бокалы, и бил колокол, а Клим стоял в дверях с очеканенным серебром рогом в руке и хохотал, перекрыв весь проем, потому что вслед за последним ударом колокола диктор голосом Клима сказал: для тех, кто не успел наполнить свои бокалы, мы повторяем сигналы точного вре-

мени... Все замерли, и в тишине из внутреннего кармана Климова велюрового пиджака совсем тихо, как бой лесной кукушки, донесся мерный, тягучий перепляс курантов.

Положил трубку – довольно с меня этой телефонной рулетки, – встал, прошел в комнату, оставив открытой дверь в слабо освещенную прихожую, лег поверх одеяла на бок и, подтянув колени к груди, накрылся старым махровым халатом. Так, лежа, услышал, как затрещал молоточек по жестяному корпусу будильника в комнате сына. Потом, сразу после звонка, заиграл магнитофон; Денис прикрутил к доске два упругих обрезка часовой пружины, воткнул между ними обломок спички, ниткой соединил эту щепку с будильничным винтом, так что когда звонок начинал звенеть, ушастый винт наматывал нитку, выдергивал спичку, контакты замыкались и магнитофон включался. Каждое утро, кроме выходных. Утренний хит. Зыбин привык, кое-что даже любил. «Мальчики-мажоры». «Круговая порука». «Террорист Помидоров». Забавные такие штучки. Когда «Круговую поруку» первый раз по трансляции услышал, ушам не поверил: как?.. такое?.. Не может быть! А потом как-то привык, да и все мало-помалу привыкли. Что тут такого, если подумать? Все правильно, все так и есть. А это, как оказалось, всего-навсего, «слова, слова, слова...» Сэм, правда, как-то очень точно разграничил, что стало лучше, а что как было дерьмом, так дерьмом и осталось. Получилось, что многое, очень мно-

гое стало даже хуже, и гораздо, но зато пришла адекватность, единство слова и явления, когда все можно называть своими именами, невзирая на лица. И еще по Сэму вышло, что искусство как таковое очень выиграло в смысле духовной свободы за счет этой самой адекватности, но пока в большинстве случаев не может взять верный тон. И цитировал Иннокентия Анненского: самая большая ошибка современных авторов заключается в том, что они пытаются угодить эстетическим запросам русской публики; так вот: русская публика не имела и не имеет эстетических запросов, у нее есть только эстетический каприз и скептицизм варварской пресыщенности.

Денис собрался и ушел в школу, сам, к родителям в комнату даже не заглянул: у вас, мол, своя жизнь, у меня – своя. Что ж, он по-своему прав и даже в каком-то отношении деликатен. Зайти, увидеть, что отец лежит на тахте один, в халате, а время начало восьмого – и что? Сделать вид, что это в порядке вещей? Или вот так в лоб брякнуть: а где мама? Дичь. Бред.

Жена пришла вскоре после его ухода, тоже, наверное, постаралась подгадать так, чтобы не столкнуться в подворотне. Зыбин не спал; его слегка знобило под халатом, а слух был обострен так, что он даже слышал из-за стенки, как она коротко, по-мужски, продувает мундштук папиросы и выбивает табачные крошки о ноготь большого пальца.

Потом был разговор, в котором все вдруг было сказано и

все вещи были названы своими именами. И все это было так неожиданно легко, словно речь шла о совершенно посторонних вещах. И сейчас, позже, он вспоминал это утро скорее не как часть своего прошлого, а как сцену из какого-то спектакля, в которой муж и жена мирно беседовали о том, что хоть у каждого из них и есть сейчас какая-то своя жизнь, но эта своя жизнь лишь часть какой-то более общей жизни, и потому эту вот часть нельзя вот так просто оторвать и сделать всей жизнью, точнее, всем тем, что от нее осталось.

– Вот если бы лет пятнадцать назад, – говорила жена, – или хотя бы десять, то я бы, наверное, ушла...

– Но тогда-то я был совсем другой, – говорил Зыбин, – я не был обузой, не то что теперь... Теперь-то я, видишь, совсем разваливаюсь, ведро мусорное вынесу – и уже задыхаюсь...

– А ты кури поменьше, – говорила жена.

Вскоре она переделалась и ушла на работу, перед уходом постелив ему чистое белье. Зыбин лег, но никак не мог уснуть весь, а только как бы по частям проваливался в зыбкое забытье, где его начинали обступать обрывки картин и видений прошлого. Вот брат Вэвэша стоит в простенке, насмешливо кривит губы и говорит: Любаша? А что, Любаша? Вот влипну я в историю, тогда что?.. И вот уже Любаша, вся в черном, входит в церковь и вся вдруг оседает на пол, падая лбом в подол длинной юбки. И вот они уже идут под руку вдоль каких-то сырых, подгнивших снизу заборов, через му-

сорный пустырь, входят в бревенчатый двухэтажный дом, со всех сторон подпертый бревнами, и Зыбин вдруг почему-то понимает, что Любаша – его жена, и что это их дом, и что дом этот пуст, холоден, и что они с Любашей – последние люди, оставшиеся на Земле, и что если у них не хватит сил начать все с начала, то человечество кончится вместе с ними. И вдруг Любаша поворачивается к нему и говорит: «А ведь мы с ним так жили, невенчаные, так, может, и траур по нему носить – грех?» – «Кто тебе сказал?» – спрашивает Зыбин. «Никто, – отвечает Любаша, – так почему-то подумалось...» – «А как ты сама чувствуешь – грех или нет?» – «Нет», – отвечает Любаша. «Так тогда и носи, – говорит Зыбин, – ведь человек всегда сам чувствует, когда он грешит, а когда нет...»

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.